

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Сергей Носов

ДАЙТЕ
МНЕ
ОБЕЗЬЯНУ

«АББУКА»



Сергей Анатольевич Носов
Дайте мне обезьяну
Серия «Русская литература.
Большие книги»

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=74387441
Дайте мне обезьяну. романы, повести, рассказы: Азбука,
Издательство АЗБУКА; СПб; 2026
ISBN 978-5-389-34702-1*

Аннотация

Три кита, на которых держится основание настоящей книги Сергея Носова, – три романа, три реально важные вехи в петербургском литературном космосе.

«Член общества, или Голодное время» – книга внешне (но только внешне) о том, как от книжных кулинарных рецептов, воспринятых неуравновешенными умами, легко заразиться антропофагией в прямом, а не переносном смысле.

«Дайте мне обезьяну». Как из чего угодно можно сделать кого угодно – роман об удивительном феномене современных политтехнологических практик и мастерах игры по забиванию в пустые ворота.

И «Грачи улетели» – вполне провокационное сочинение, выражающее простую мысль: для того чтобы выйти в лидеры на передовой художественных боев, творцу нужно что? Да всего

лишь помочиться с моста, а потом художественные эксперты назовут этот естественный акт новой вехой в современном искусстве.

Завершают книгу повести и рассказы, представляющие автора как великолепного повествователя и блистательного рассказчика.

Содержание

Член общества, или Голодное время	7
Глава 1	7
Глава 2	33
Глава 3	55
Глава 4	80
Глава 5	104
Конец ознакомительного фрагмента.	116

Сергей Анатольевич Носов

Дайте мне обезьяну

© С. А. Носов, 2026

© Е. Р. Бублик, 2026

© Оформление, составление.

ООО «Издательство АЗБУКА», 2026

Издательство Азбука®

* * *

РУССКАЯ
ЛИТЕРАТУРА



Сергей Носов

ДАЙТЕ МНЕ ОБЕЗЬЯНУ



Санкт-Петербург

Член общества, или Голодное время

Глава 1 Падение самовара

1

Кого ни спроси (тех, кто помнит еще) – помнят до мелочей День Великого Катаклизма.

Я-то помню день предыдущий.

В этот день я сдал Достоевского.

В 30 томах, или 33 книгах, двухпудовое, полное – сочинений собрание – я тащил на себе в этот день на далекий Рижский проспект, по-тогдашнему проспект Огородникова... – закоулками, огородами, проходными дворами, пролазами... – просто тамошний «Букинист», он работал по воскресеньям.

Почему я не взял такси? Потому что не было ни копейки.

Ничего, ничего, он бы понял меня, Федор Михайлович, и простил, а то бы еще и благословил даже на сдачу его со-

чинений (так я себя утешал), ибо знал он, что такое долги, кредиторы и неплатежеспособность.

Полагаю, при определенных обстоятельствах он бы сам отнес, не задумываясь, в «Букинист» на проспект Огородникова, окажись такой комплект у него пускай даже в единственном экземпляре, – свое полное собрание произведений – со всеми рукописными редакциями, вариантами, приложениями, примечаниями, списками несохранившихся и ненайденных писем, сводными указателями, включая фундаментальный (в числе позиций более двухсот) указатель опечаток, исправлений и дополнений.

Уже по этому перечню видно, что я ПСС открывал.

Не то слово. Я прочитал все 30 томов, или 33 книги, от корки до корки – от первых слов: «От редакции: „Настоящее Полное собрание Ф. М. До...“» – до – до последней опечатки по списку: «П. К. Раухфуса» вместо «К. А. Раухфуса».

И все 30 томов, или 33 книги, я прочитал за 3 дня и 3 ночи!

Это покажется невероятным. Поверить в это нельзя. Лично я ни за что б не поверил, что такое возможно!.. Но я знаю: возможно!.. За 3 дня и 3 ночи!

И это было со мной!

Весной 91-го я имел глупость посещать платные курсы сверхбыстрого чтения по методу Шелеховского-Картера. Тогда этот сомнительный метод широко разрекламировали в газетах как «основной вспомогательный инструментальный ме-

таинтеллектуального развития»; никто не знал, что сие означает, но верили, что что-то хорошее. Вот я и пришел по газетному объявлению в ДК им. Крупской, заплатил девяносто рублей (тогда я работал и мог позволить), попал в группу к студентам и домохозяйкам, наслушался умных речей, ощутил на себе прелести глубинного погружения в «метаинтеллектуальный сфероид расширяющихся потенциалов», закайфовал – в меру предрасположенности к этому делу. Нам говорили, что учат нас будто бы по рассекреченной методике ГРУ-ЦРУ; тогда все время что-нибудь якобы рассекречивали, а якобы рассекретив, тут же выгодно втюхивали восторженным потребителям через всевозможные платные курсы.

Трехсуточная атака на Достоевского была мне засчитана как дипломная работа. Другие атаковали Теккерея, Серафимовича, многотомную «Жизнь растений», словари, энциклопедии, «Махабхарату» – в общем, то, что оказывалось под рукой. В целом я выдержал испытание. Получив свидетельство об окончании курсов и едва добравшись до дома, до койки, я, рухнув, понял, что еще чуть-чуть и сошел бы с ума, – я вырубился, уснул, стал поленом, веслом, дирижаблем, оглоблей, а когда пробудился и посмотрел с ужасом на книжные полки, решил, что с Достоевским в одном доме мне делать нечего. (Забавно, что и жена моя – только уже по отношению ко мне, а не к Достоевскому – тоже пришла к аналогичным умозаключениям...)

Несколько дней я не мог смотреть на печатные знаки.

А когда смог, то не смог внятно воспринимать напечатанное. Я не понимал, о чем читаю. Я даже не понимал, читаю ли я, когда я читаю, или я не читаю? А читал я так: или стремительно, или совсем никак, вперив неподвижный взгляд в одну букву.

Я запил.

Водка подействовала благотворно; я исцелялся. Через месяц-другой я снова научился читать по-человечески: как все – сначала по слогам, потом бегло, – правда, влечения к чтению напрочь лишился.

А на Достоевского я не сержусь. (И он пусть не сердится – там...) Был бы Теккерей или Серафимович, было бы то же самое.

И то, что я продал именно Ф. М., в этом нет ничего символичного.

А то, что продал не сразу, так это от лени. Вот, кредитора дождался звонка. И заспешил.

Спрашивается, зачем я ходил на эти идиотские курсы?

Объяснить невозможно. Все ходили куда-нибудь: на курсы прикладной астрологии, на курсы универсальной йоги, на курсы научного голодания... В стране кризис, почва уходит из-под ног, люди ищут опору...

Может, я хотел стать первоклассным корректором. (Никогда не хотел.)

Не знаю. Не знаю. Не могу объяснить.

...А вот чему я был бы рад придать значение (но не решаюсь), так это престранному разговору в троллейбусе, приключившемуся между мной и одним ниже обозначенным субъектом вскоре после того, как я получил за Достоевского денежку.

Разговор этот я нередко вспоминаю в деталях, но почему-то, вопреки моим вспоминательным усилиям, ничто не убеждает меня в его значительности. Совершенно случайный. Абсолютно нелепый. Хотя – сомневаюсь. Или все же не так? Со значением или? А иначе мне чем объяснить цепь дальнейших событий?

Итак, по порядку.

Мой нетерпеливый кредитор проводил август в поселке Солнечное. А до Солнечного, как известно, можно добраться с Финляндского вокзала. А от проспекта того Огородникова до Финляндского ходит, по счастью, троллейбус – «восьмерка»; вот я и поехал на нем.

Я сидел у окна и листал от нечего делать (здесь бы надо подробнее...) старинную с ятями книжку. Называлась она красиво: «Я никого не ем» и вся кишела овощными рецептами. Эта книжка досталась мне в наследство от одной давней подружки, которой была не нужна, – ну а мне и подавно. Я сегодня ее собирался по случаю сдать, приложив к Досто-

евскому, но Достоевского взяли охотно, а эту нет, ну и пусть. Их право.

Ладно. Троллейбус наш повернул на Загородный. На остановке возле пожарной каланчи вошел некто и сел рядом. Я книгу листаю; не прошло и минуты, как он подает голос:

– Что-то интересное... Судя по всему, что-то суворинское... Или нет? Маркса?..

– Энгельса, – обрезал я довольно-таки грубо. Но он не обиделся.

– Понимаю, – он дал мне понять, что ценит юмор. – «Анти-Дюринг» в переводе Веры Засулич.

Не обиделся – и блеснул эрудицией.

Я посмотрел на субъекта: зрелых лет, худошав, гладко выбрит. Он неприятно – неприятно доброжелательно – улыбался. И еще: несмотря на жару, был он в костюме. И костюм был с иголки.

Скрывать я не стал, пусть знает:

– «Я никого не ем».

– Вы?

– Нет, это название, – я закрыл книгу и показал обложку, – видите? «Я никого не ем».

– Зеленковой. Ольги Константиновны Зеленковой, – сказал мой сосед. – Как же не знать... Триста шестьдесят пять вегетарианских блюд... Петербург, тринадцатый год, если память не изменяет... У вас третье издание?

– Понятия не имею.

– А вы на титул взгляните.

– Третье, третье.

– Зеленков редактировал, Александр Петрович, супруг Ольги Константиновны, известный врач в свое время...

– Вот как? – поразился я необыкновенным познаниям.

– Он, он, – подтвердил незнакомец.

– А я и не знал. (И знать, честно говоря, не хотел.)

– В Харькове ее переиздали.

– Когда? – спросил я зачем-то.

– А недавно... Большим тиражом. В Томске – поменьше.

В «Московском рабочем»... подождите, в «Московском...» ли «...рабочем»?.. или в «Столице»?.. нет, в «Московском рабочем», так там, в «Московском рабочем» (понравилось ему в «*Московском рабочем*»...), аж стотысячным тиснули. Бестселлер.

Тут я сказал:

– Популярная.

– Что ничуть не умаляет ценность вашего экземпляра.

У вас редчайшей сохранности экземпляр. Просто редчайшей.

Я заскромничал:

– Корешок поврежден.

– Пустое! – энергично возразил мой попутчик. – Это же поваренная книга, вы понимаете? – поваренная! Часто ли вы видели поваренные книги в издательских переплетах?

– Никогда не видел, – честно сознался я. – Только эту.

– И неудивительно! Такого рода литература до дыр зачитывалась. Елена Молоховец на аукционе дороже Ахматовой идет прижизненной, почти как Чехов с автографом! А все потому, что в издательском переплете. Это Елена-то Молоховец! Она в каждом доме, у каждой хозяйки была, и где теперь ее переплеты? Нет-нет, берегите свою Зеленкову, такой экземпляр, я вам просто завидую. Разрешите?

Я хотел ему дать книгу в руки, чтобы полистал, если хочет, но он брать и листать не стал, а лишь прикоснулся к обложке двумя пальцами, тогда как «Я никого не ем» по-прежнему держал я. Мне стало смешно.

– Возьмите, не бойтесь.

– Да? Вы разрешаете? Знаете, там у вас, я видел, печать какая-то... на титуле... Разрешите взглянуть?

– Сделайте милость. Это первого владельца, наверное.

– Какая прелесть! Какая прелесть! – Он внимательно рассматривал печать на титуле. – Какая прелесть, однако!

Печать же (однако) была самая обыкновенная – овал, по краям надпись: «Кабинетъ для изученія массажа и лечебной гимнастики», а в середине: «П. Я. Струць».

– Уж не родственник ли ваш? – спросил я попутчика.

– Родственник, да не мой.

– А чей?

– Откуда ж мне знать, – проговорил незнакомец, возвращая книгу. – Вам лучше известно. Я думал, что ваш. Но не ваш. Вижу, не ваш. В принципе, все люди родственники.

И вы, и я.

– Но вы сказали «какая прелесть».

– Просто я от печатей, от книг с печатями, сам не свой. Страсть такая во мне... книги с печатями. Я их, знаете ли, коллекционирую... Каких у меня только нет их... с печатями. Извольте:

«Долмат Фомич Луночаров
Общество друзей книги», —

прочитал я на визитной карточке.

Значит, не сумасшедший. Как будто. А то уж подумал. Все может быть.

– Вам выражение «маргинальная сфрагистика» о чем-нибудь говорит? – спросил Долмат Фомич Луночаров.

– Нет, ни о чем.

– Сфрагистика – это наука о печатях, позвольте напомнить, вообще о печатях. А маргинальная сфрагистика – то, чем я занимаюсь. Моя тема.

Я почтительно промолчал.

– Есть у меня Пушкин брокгаузский, великолепнейшее издание... А печать? Не догадаетесь: «Всесоюзный Совет рабочих точного машиностроения. Библиотека завкома имени ОГПУ». Как вам нравится?

– Редкий, должно быть, экземпляр, – сказал я уклончиво.

– Еще бы. Ваш тоже редкий.

– Вообще-то, это не моя книга.

– Я сразу понял.

– Почему?

– Для приверженца безубойного питания у вас не тот цвет лица, извините. Вы сегодня жарили что-то на свином жире, бьюсь об заклад.

– Верно, картошку...

– А вчера, не хочу вас обидеть, пили портвейн. Молдавский. Где вы только достали его. Все спирт «Рояль» пьют.

– Потрясающе, – вымолвил я, без дураков потрясенный, ибо действительно был угощаем вчера молдавским розовым в компании выпускниц не то Академии связи, не то Института культуры... (В тот год спиртные напитки *шли по талонам.*)

– Очень был бы признателен вам, – продолжал Долмат Фомич, – если бы вы нашли возможным позволить мне переснять как-нибудь титульный лист этого замечательного экземпляра – с печатью. Верну, верну обязательно!.. В моей коллекции нет ничего касаясь лечебной гимнастики. У меня больше по общественным дисциплинам, по сельскому хозяйству, по искусству...

Почему же не дать? Я дал ему книгу, пусть переснимет. Он бережно положил ее в кейс. Мой телефон записал и даже адрес, обещал позвонить. Спросил, когда лучше – утром? вечером?

– Утром. Вечером меня не бывает... – «Трезвым» – следовало бы добавить. – Только соседям не передавайте, у нас плохие отношения. (Под «соседями» я подразумевал жену с

ее не скажу кем.)

– Понимаю. А может, у вас по музыке есть что-нибудь? Я печать имею в виду... Нет? Хотя бы школы какой-нибудь музыкальной?

У меня ничего по музыке не было, ничего музыкального, даже слуха не было, не то что школы, – о чем я и доложил Долмату Фомичу, сам не знаю зачем. Медведь, сказал, наступил на ухо.

– Вот уж не поверю, музыкальный слух может развить каждый.

– А я не могу. У меня патологическое отсутствие слуха.

Я не обманывал. Я не чувствую ритма. Я не способен хлопнуть на ладонях пять слов по слогам. Спеть что-нибудь – боже упаси! Не способен танцевать. Буду наступать на ноги. Да еще не в такт. Самое невероятное: мне снятся музыкальные сны, а иногда (и нередко!) звучат в голове мелодии – знакомые, полужановые и, главное, совсем незнакомые, я слышу их!.. но чтобы воспроизвести, хотя бы самую простенькую... никогда в жизни!.. Даже «Чижик-Пыжик» спеть не могу. Полное отсутствие слуха.

Я так и сказал. Вообще-то, я человек скрытный, но не знаю сам, зачем-то я разоткровенничался.

– Выходит, внутри вас живет музыка? – спросил Долмат Фомич, привстав (его остановка).

– Живет, да не выходит. – Я засмеялся.

– Гений! Гений! – восхищенно воскликнул мой собесед-

ник. – Ну, мне пора. – И, пожав руку, выскочил из троллейбуса.

3

В Солнечном я был недолго. Встретился со своим нетерпеливым кредитором (о чем рассказывать неинтересно) и отдал ему почти все деньги, вырученные за Достоевского, – расплатился. На душе посветлело.

Того, что осталось, хватило еще на две бутылки «Стрелецкой» – по самой что ни на есть *коммерческой цене* (не по талонам).

Тридцатитомный, большой и тяжелый, Достоевский тогда стоил достаточно дорого. А билеты на электричку почти ничего не стоили. Водка дорожала в соответствии с падением курса рубля – день ото дня и очень заметно. В городе ее почему-то не было. А в Солнечном почему-то была. И кто мог купить, покупал.

Короче, на Достоевского, на тридцатитомного, полного, академического, можно было бы жить больше месяца, если б не долг. А месяц был август. Краснели гроздья рябины. Помню, смотрел я в окно электрички и думал, как продал легко его, сдал. Страна у нас при всем при том (притом что я сдал Достоевского) оставалась по-прежнему *литературоцентричной*: ехали и читали – кто детективы, кто классику... кто роман, кто басню... А кто-то в окно смотрел, кто читать

не желал или нечего было. Кончилось лето почти. Гроздь рябины. Я лета не видел.

Это по прошествии дней многим будет казаться, что в те часы накануне грандиозных событий все только и думали об одной политике. Вот и не так. Я лично, глядя в окно электрички, переводил полного Достоевского в килограммы говядины (а также хлеба и сахарного песка) – в денежном эквиваленте.

Самым дорогим был Достоевский в спичках (если в мировых ценах). А также в отечественных презервативах. А также в ворованных дрожжах, что продают пачками возле проходной комбината на Курляндской улице.

Но и без спичек, и без отечественных презервативов, и без ворованных дрожжей можно было бы жить на Достоевского месяца два-три, получалось.

Если б не долг.

Я второй месяц нигде не работал.

А жил я у парка Победы в сталинском доме с высокими потолками.

Один – не один.

С некоторых пор я полюбил не торопиться домой, если это можно называть домом.

В тот вечер вот что случилось.

Около девяти приходит ко мне с куриным паштетом институтский приятель Валера, и не один.

– Познакомься, Надей зовут, – так он представил.

Ну, Надя и Надя.

Хлеб я купил, и мы выпили за Надежду. И за наше общее, что ли, здоровье. И потом не чокаясь, ни за что – по простоте отношений.

Поначалу пить не очень хотелось.

После третьей Валера закомплексовал. Он просил извинить его, что пришел ко мне с Надеждой одной, без подруги Надежды.

– У нее такая подруга!..

– У меня такая подруга!.. – подтвердила подруга Валеры.

Однако «Стрелецкая» славно пошла.

За стеной загудело. Это включился пылесос не без помощи моей полубывшей жены. Он всегда включается, когда ко мне приходят гости. Жена полюбила чистить ковер. Ненавижу с детства этот ковер, эту мещанскую роскошь.

– Удивительный человек, – сказал Валера, открывая вторую бутылку, – он женился на аферистке. Она с ним фактически развелась, живет с хахалем в его же квартире, оттяпали комнату, и теперь они, представляешь, вы-трав-ли-вают, вы-трав-ляют его отсюда, гонят на улицу! Олег, помяни мое

слово, ты здесь жить не будешь!

– То есть как вы-травливают... вытрав-ляют? – спросила Надя Валеру.

– Буквально: собакой!

– У них овчарка афганская, – я Наде сказал.

– А у него на собак аллергия.

– Преувеличиваешь, – сказал я, – сильно преувеличиваешь.

Я не против истины, но Валера действительно преувеличивал. Хотя в его словах доля правды была. Не хочу развивать коммунальную тему, она мне противна. Другой жанр. Если послушать Валеру, я какой-то болван, недотепа. Все гораздо сложнее. И с женой, и с той же собакой.

Между прочим, я не разводился с Аглаей (мою жену Аглаей зовут, и ничего тут не поделаешь...); формально мы в браке.

– А давайте-ка выпьем за вас, за присутствующих! – Надежда встала.

И мы – стоя. За нас. За мужчин.

Пылесос нам не был помехой.

Валера рассказывал про школу брокеров, куда он пойдет и всем покажет. Тогда мы увидим. Он заработает миллион уже в этом году. Спрашивал, пойду ли я в брокеры? Отчего ж не пойти. Я ответил:

– Конечно.

– Хочу с Олежкой, – Надя вдруг захотела. – Олежка.

Олежка. Олежка.

Тем не менее она сидела у него на коленях.

Валера гундосил:

– Ну ты, Надь, что ты, Надь... я ведь, Надь, я ведь тоже хороший, Надь...

Обижать Валеру я не имел морального права – он гость. (Они были пьяные оба. Факт. Я понимал. «Олежка, Олежка...»)

– Слушай, а ты знаешь, на что мы это, пьем сегодня? – вдруг встрепенулся Валера. – Олежка Достоевского продал!

– Бюст? – спросила Надежа.

– Сочинений, – сказал я, – собрание. Полное!

– Бюст, наверное, дорого стоит, – о каком-то все грезил бюсте.

– Живет на Сенной, – Валера мне объяснил, – у тетки живет. А ты был на Сенной? Барахолка... Три тыщи народу...

– Если есть что продать, я продам, – Надя сказала, обнимая Валеру. – Хоть бюст, хоть что.

– Книга не водка, – я тоже сказал, – она должна быть дорогой.

Чужая мысль, не моя.

И небесспорная.

Оттого что я вспомнил ее, чужую, меня замутило. С некоторых пор организм не переносит цитаций. – Я встал и пошел на кухню. Шатало.

Я хотел попить холодной воды, но из крана почему-то тек-

ла только горячая; видно, кран у нас работал неверно.

Горячую я пить не желал.

Элька вылезла из-под стола и зарычала.

– Поди прочь, животное, – сказал я собаке.

– Не называй Эльвиру животным! – Это вышла моя жена, вернее, уже нежена из своей... моей, вернее... в общем, из другой комнаты.

– Сука, – сказал я собаке назло жене.

– Алкоголик! – закричала Аглая. (Па-па-па-бам!.. К вопросу о музыке...) – Ты нарочно дразнишь ее, чтобы она тебя укусила!

Я не был алкоголиком. Я стал выпивать лишь в последнее время. И потом, не потому на меня рычала собака, что была мною дразнима, а потому что... не знаю сам почему... потому что знаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда некуда больше пойти?..

– Пошла отсюда, пошла отсюда, – повторял я собаке, – скотина плешивая!..

– Артем! Он хочет, чтобы его укусила Эльвира!

– Сука, – продолжал я свои оскорбления.

Ее вошел в турецком халате.

– Артем! Посмотри на него!..

Ее посмотрел.

– Гашенька, моя дорогая, – заскрежетал ее зубами (своими зубами), – Гашенька, моя дорогая, ты только скажи мне, я его в порошок сотру!..

– Скажи скорей ему, Аглая, за что тебя твой муж имел? – не удержался я передразнить Пушкиным.

На сей раз цитата, точная или неточная, получилась все-таки к месту, и для меня – как глоток свежего воздуха (правда, не ожидал). Аглая взвизгнула. Собака тявкнула. Ее дал мне в глаз. Я дал в глаз ему. Мы сцепились. Затрещал халат турецкий. Попадали стулья. Посуда полетела со столика.

Но силы были неравные. Ее весил больше. Ее был к тому же трезвым, надо отдать ему должное. А мои, им было не до меня – там, за дверью, они занимались любовью, они могли не услышать. Хотя крик стоял еще тот.

– Я сожгу их в печке! – кричала жена про какие-то деньги. Про какие же деньги, интересно, она так надрывно кричала? И кричала ли она взаправду про деньги? А может, про письма? Про чьи? Не приснилось ли мне это позже в больнице? Не самому ли придумалось?

Я же точно кричал:

– Аферисты!

В общем, картина весьма неприятная.

Стоял у нас большой медный самовар на буфете. Память о бабушке. В детстве я прятал в нем сигареты. Жена говорила, что я подарил ей самовар этот на день почему-то ее рождения. Неправда. Я не дарил. Но пусть.

Он-то и загремел мне на голову.

В глазах потемнело. Уездили клячу, послышалось мне (или вслух произнес – кто теперь знает?).

Надорвала-а-а-ась.
Я потерял сознание.

5

Моя фамилия Жильцов. Олег Жильцов.
Жильцов Олег Николаевич.

Странная фамилия Жильцов; Нежильцов мне кажется более внятной.

Естественно, в школе я был Жильцом. И во дворе был я Жильцом. Что лучше, конечно, как думаю я сейчас, чем быть Кирпичом, например, каковым был мой враг Кирпиченко. Но кирпич, я думал тогда, – это твердость, увесистость, прямота, а что такое жилец? Я недолюбливал свою фамилию. Я недолюбливал свою фамилию за то, что она начиналась почему-то с малосимпатичной буквы Ж, за то, что в ней явно слышалась ЖИЛА, за мягкий знак, за желе, за глупое цоканье. Учителя, мне казалось, произнося Жильцов, сглатывали слюну.

Иногда я протестовал. Ко мне обращались: «Жилец». – «Я не жилец», – отвечал я сурово.

В шестом классе в гостях у Оли Кашицкой я впервые увидел словарь Даля. Полюбопытствовал. Не найдя слов неприличных, ни того, ни другого, ни третьего, открыл на жилце. Так вот кто такой жилец.

«Кто жив, кто живет или кому еще суждено жить».

Хорошо это или плохо? Пожалуй, с этим можно смириться.

Хуже: «Постоялец, нанимающий помещение». Еще хуже: «Паренек для прислуги».

Неясно, как относиться к – «уездному дворянину, жившему при государе временно». Вроде бы дворянин – вполне сносно, но почему «при» и каком еще государе?

6

Сотрясенный мой мозг алкал безмятежности.

Сотрясенный мой мозг алкал, говорю, безмятежности, а тут такие события.

Вот и я теперь: кого ни спроси (всех, кто помнит еще) – до мельчайших подробностей помнят Дни Великого Катаклизма.

Мне же нечего вспомнить.

В больнице им. 25-го Октября встретил я день 19-го августа, и тем он запомнился мне, что сильно тошнило. 20-го тоже сильно тошнило, и 21-го тоже тошнило, но меньше, не так уже сильно. Потому что кололи магнезию. Мировые силы сходились в единоборстве, решались судьбы народов, а мне, равнодушному к их судьбе, кололи магнезию в задницу – такое ужасное несоответствие!

Прежде чем уколоть, сестра сообщала обязательно новость: дан такой-то приказ, ультиматум такой-то отвергнут,

Борис Николаевич Ельцин почему-то с броневика обратился к народу. Тошнило. С победой демократии перестало тошнить, и я снова почувствовал желание что-нибудь съесть, но странное дело, – когда я потом, по прошествии дней, месяцев, лет, видел на телеэкране лица героев, особенно то, одутловатое, с выражением отеческой заботы, сразу припоминался нервный, неровный сестрицын голос, и начинало поташнивать.

В те дни я и не думал вникать в происходящее, я вообще старался не думать или просто не думал, вне всякой зависимости от того, думал ли я думать или не думать.

Просто не думалось – вот и вся моя мысль.

Отголоски исторических потрясений, затухая в сотрясенном мозгу, ничего не доказывали, кроме – что тошнит не без причины. «Белый дом... – переговаривались сестры – ...наш Белый дом...» – «Белый дом. Белый дом. Белый дом», – позвякивали ложками нянечки и везли макароны желающим есть. Не наш ли? – глухо во мне отзывалось и глохло. «Будет штурм, – тревожились, – Белого дома». А мне так представлялось: дом, в котором лежу (обязательно белый), вот-вот начнут штурмовать и будут брать поэтажно. Знание успокаивало. Я больше не думал об этом.

Теперь, когда почасовая хроника событий опубликована, я склонен считать, что самовар загремел мне на чайник в исторический момент принятия рокового решения. Мятежники собрались на последнюю сходку. Трубецкой сказал:

«Да!» – Самовар навернулся. Я потерял сознание. Не сомневаюсь, Валера с Надеждой в этот миг, счастливые моим отсутствием, разрядились, как молнии, в любовной схватке, – и я даже многих спрашивал потом: а что было с вами накануне известных событий – в такое-то время? – и ведь с каждым что-то случалось. А раз так, раз произошел в самом деле некий неведомый всплеск вселенской энергии или что-то вроде того, мирового порядка-масштаба, должен ли я, многогрешный, со своей стороны роптать на Аглаю? Ну упал самовар и упал. О другом вспоминать не хочу. Аглая, прости.

Ждали жертв. В ночь на двадцатое, узнал я потом, когда вспоминали другие, а мне полегчало, – в ночь на двадцатое ждали жертв. Кого-то действительно привезли, но не в нашу палату. Привезенный оказался белогоречным.

Я поправлялся. Меня посещали. Пришел как-то Валера, принес бутылку кефира и печенье со знаковым именем «Привет Октябрю». У него остались мои ключи. Жил Валера теперь в моей комнате – вместе с Надеждой.

– Не волнуйся, мы присмотрим за комнатой. Все будет в порядке.

Я и не волновался нисколько.

– Удивляюсь, – как всегда, удивлялся Валера загадке моей женитьбы, по-моему, самой обычной, – как ты смог? Как ты смог на такой?

Развивать эту тему мне не хотелось.

Оказывается, в ночь на двадцатое Валера и Надежда *были*

на баррикадах. Они защищали Мариинский дворец, оплот тогдашней законно избранной местной власти. К счастью, нападающих не было. Защита прошла успешно.

– Ты представить себе не можешь, – вдохновенно говорил мне Валера, – как это было здорово! Как прекрасно! Какое единение людей! Самых разных! Самых-самых разных людей! Ты знаешь, я впервые ощутил себя счастливым. Такой был единый порыв! Общий восторг!.. Как жаль, что тебя не было с нами! Если б не это, – он показал на мою голову (мне – на мою), – ты бы был обязательно с нами.

– Извини, – сказал я как можно мягче, чтобы не обидеть Валеру, – вас тоже не было со мной.

– С тобой? Сравниваешь... Все было так стремительно. Когда мы вбежали, ты лежал на полу.

– Ну и ладно, Валера. – Я пожал ему запястье по-дружески. Он сидел рядом, я лежал, улыбался.

Страшно представить, что было бы, если бы на площадь перед Мариинским дворцом выехали настоящие танки. А тут Валера с Надеждой на баррикадах. Все гибнут, кроме Валеры. Надежда гибнет последней. А Валера контужен. И вот мы с ним лежим в больнице им. 25-го Октября. Соседние койки. Я, поправляясь, подаю ему пить. Он герой. Я – пришибленный самоваром.

Страшно представить, как мог завершиться этот сюжет. Страх парализует рассудок.

Как-то раз я получил передачу – экзотический фрукт киви

(в тот год он был нам еще в диковинку), а к нему прилагалась записка:

«Дорогой друг! Знаю, знаю, что Вы поправляетесь. Искренне желаю скорейшего и полного выздоровления. Не смею обременять Вас своим непосредственным присутствием, но прошу принять мое заверение в дружбе. У меня есть для Вас небольшой сюрприз. Когда выпишетесь, обо всем узнаете. Жму руку. Ваш Д. Ф. Л.»

Кроме «дефлорации» и «дефиле» никаких ассоциаций «Д. Ф. Л.» не вызывало.

Я был больше обескуражен, чем тронут. Я не знал – от кого. Целый вечер перебирал всевозможных знакомых, и только ночью, во сне, вдруг озарило: Долмат Фомич Луночаров, троллейбусный пассажир! Я мигом проснулся. Палата хранила. Луночаров мог найти меня через Аглаю, я же дал ему телефон. Я был потрясен вниманием Луночарова. И немного испуган. Сюрприз... Не люблю я сюрпризов.

– А ты ведь везучий, везучий, – говорил мне однажды Алексей Евдокимович (с пробитым ломиком черепом). – Могли б и убить. За выпившего никто не спросит. А то бы собакой еще затравили... С выпившим, что хошь, все позволяется...

– Повезло, повезло, – соглашались другие травмированные.

Наступила календарная осень. Дети в школу пошли, у взрослых обострились хронические заболевания. Серая

ржавчина коснулась зелени – во дворе рос тополь. Я поправлялся. Вставал.

Незадолго до выписки еще раз пришел Валера, принес опять же кефир и печенье принес, «Радость детства» печенье.

– Понимаешь, они тебя изведут. Тебе не ужиться с Аглаей.

– Понимаю, – сказал я, – а что же мне делать?

– Главное, не делать глупостей, – дал Валера дельный совет.

– Ну спасибо, Валера.

– А что? Тебе нужен покой. Плюнь на эту квартиру. Пока. А потом – видно будет... Давай сделаем так. Мы сейчас проживем у тебя, поприсмотрим с Надеждой за комнатой... Ничего, у нас получается, мы справляемся, ты не волнуйся... А ты... Ты пока что у Надькиной тетки поселишься, есть каморка свободная, в двух шагах от Сенной... Комфорт не обещаю, но зато в центре города, вид из окна, сам понимаешь, и второе – отдохнешь, расслабишься, она бандитов боится, не хочет одна... По крайней мере, не сумасшедший дом, это я тебе гарантирую. Соглашайся. Ну?

– Гну, – сказал я Валере.

Он был прав. Возвращаться мне не хотелось. Я хотел сменить обстановку.

– Тетка-то, – спросил я, – наверное, сильно ненормальная?

– Нормальная тетка. С ней Надька жила. Соглашайся.

Я подумал: пожалуй... И ответил:

– Давай.

Глава 2

Сенная

1

Пока я лежал в больнице, многое у нас изменилось. Петербург, в частности, стал опять Петербургом, а был последний раз Ленинградом. Не чудо ли это? В Петербурге я вышел на волю, а стукнуло меня в Ленинграде еще. Как для других, не знаю, но по мне метаморфоза *Ленинград – Петербург* далеко не формальность. И отчасти еще потому, что я перебрался – буквально: из бывшего *ленинградского* сталинского дома возле парка Победы – в бывший доходный *петербургский* дом в трех шагах от Сенной.

Екатерина Львовна жила на последнем этаже, кажется на пятом или на четвертом, – я так и не сосчитал, сколько этажей в этом доме, – кажется, пять, а может, четыре... Может быть, шесть, не считал... Время небывалое было тогда, взбрыкивающее, под стать ему состояние головы – то восторг, то ипохондрия, – к тому же приходил я нередко (забегая вперед, говорю) подшофе, – не считал я ступеньки... В любом случае, чтобы к себе попасть, я должен был еще повыше подняться по деревянной скрипучей лесенке, пото-

му как жилище Екатерины Львовны было странным образом само по себе двухэтажным: внизу – ее комната, наверху – то, что как бы мое, антресоли типа кладовки – под самым скатом пологой крыши: когда на матрасе лежишь, слышно, как дождь стучит-убаюкивает.

А я часто лежал. И все слышал – и дождь, и воркование голубей, и кошачьи гулянки.

Что до вида из окна, то здесь насчет красоты Валера все-таки преувеличил немного. Окно у нас было общее, разделенное потолком-полом: нижняя, большая часть окна приходилась на комнату Екатерины Львовны, верхняя, меньшая – была подо мной. Говорю «подо мной», потому что действительно подо мной – не выше матраса. Если бы захотелось во двор посмотреть, я бы, на животе лежа, склонил голову вниз и лбом уперся бы в наличник, или как он называется правильно – то, что с этой стороны у окна, а не с той? И увидел бы я там брандмауэр, иначе стену сплошную, – и крышу грубой пристройки. Малорадостный вид. Но это меня совсем не смущало. Глядеть в окно было незачем. И не на что. Я и не глядел. Только раз поглядел или два.

И все.

Нормально. Было бы хуже без лампочки. Подвешенная к перекладине, она меня выручала. Она делала зримыми некоторые предметы. То есть, конечно, зримыми все становились предметы, когда освещались, – но лишь некоторые я признавал фаворитами.

Лежа, я мог их рассматривать.

На худой конец, просто видеть.

Или замечать их присутствие – что на самом деле мне больше всего и нравилось, – причем боковым именно зрением, невзначай, когда, не думая ни о чем, повернешься на правый бок, в общем-то, строго говоря, к стене, хоть и с окном (как бы).

– Все же лучше, когда что-то есть, чем когда нет ничего, – сказала Екатерина Львовна в день знакомства. – Что найдешь наверху, все твое. Не стесняйся, бери.

Корзина, коробка, картонка и похожая на маленькую собачонку детская вязаная шапка с помпоном, повешенная на кривой гвоздь и забытая всеми на свете. Отчего-то именно к ним, простым и ненужным, я проникся нежностью. В них что-то было. На самом деле ничего не было. Но мне нравилось их сочетание. Чем-то трогало душу. Корзина, коробка, картонка... Были бы живыми, я бы с ними мог перекинуться парой слов о проблеме, допустим, самоидентификации (или самосинхронизации... (или о понимании, допустим, понятия самодостаточности)), так ведь не были. Впрочем, и хорошо, что не были: не надо ничего допускать. А я был. Был, и теперь уже по принуждению наравно всему остальному освещаемую сороковаттной лампочкой какую-то щетку смотрел, потому что не мог не замечать ее неравномерной облезлости. Она меня, щетка, тем уже злила, что привлекала зачем-то внимание. Словно дразнила: ну что, слабо выбро-

силь? Из принципа не выбрасывал. Хотя мог.

– Чай пить пойдешь? – кричала снизу Екатерина Львовна, сбивая меня с какой-нибудь оригинальной мысли. Если чего не жалел я, так это мыслей своих, тем более оригинальных. Ничуть.

Поднимался с матраса – и вниз по ступенькам: скрип, скрип. У нее ужасно скрипели ступеньки.

С Екатериной Львовной мы сразу ладили. Она очень боялась грабителей. Уверенность в том, что живой кто-то дышит поблизости, избавляла Екатерину Львовну от ночных безотчетных страхов. Она бы еще больше меня уважала, если б умел я храпеть. Но я не храплю.

Похоже, Надежда объяснила тетушке, что мне «нельзя на-прягаться». Екатерина Львовна была вызывающе деликатна со мной и не приставала с расспросами. По ее разумению, на меня *наехали*, и она подозревала, что я связан с Надеждой темным делом каким-то. Может, она думала, что я Надеждин любовник? Что Надежда мне чем-то обязана?.. В некотором отношении она благоволила ко мне и... как бы это выразиться... подкармливала. Про Надежду говорила, что та сирота. И во мне прозревала тоже нечто сиротское. Все чаем нор-вила угостить, я не отказывался. Спустишь вниз – посидим. Любила поговорить, когда слушают.

Она выписывала «Известия» за то, что там печатали о погоде по всей стране, и в целом придерживалась правильных взглядов. Вот, скажет, намерен к нам Солженицын вернуть-

ся. Хорошо-таки. Хорошо. А то вдруг за чаем процитирует Горбачева: свобода, дескать, стала уже высшей ценностью...

– Армия-то, считай, на пороге реформ...

Или так:

– Нет, – говорит, – слишком большие мы, слишком громадные... Надо нам поделиться на сорок частей, и дело с концом... Вся беда оттого, что у нас одно государство.

Охотно о себе рассказывала. О жизни. Юность суровая, война, блокада, по двенадцать часов у станка стояла. Снаряды делала, поросят, вот таких... Вишь, руки мужицкие... Муж-то по дурости сел при Брежневе, да так и не вышел. Полы мыла в учреждении. Воспитала Надюху, а та – (опять) – сирота...

– Ты смотри, ее береги...

Объясняю в десятый раз, что видел эту Надюху всего один раз, – нет, не верит.

Уж слишком тепло обо мне отзывалась Наденька.

Спросит порой:

– Ты что хочешь от жизни?

Отвечаю:

– Трудно сказать.

Помолчим.

– А вы?

– А я справедливости.

Возьмет нож и начнет на разделочной доске делить гуманитарную помощь из объединенной Германии. Спрашиваю:

– А не жалко? Как же так на сорок частей – великую и неделимую? Вы ж ее в войну защищали, что – не жалко теперь?

Тык, мык – а потом убежденно:

– Это при Сталине! При Сталине все по-другому было! Тогда было что защищать!

– Ну так что же, за Сталина? – спрашиваю. – За Сталина, так, что ли, выходит, по-вашему?

– За Сталина!

Чок стакан мой своим – чокаемся проворно.

Чокнулись – надо пить. Выпили – закусили.

Не только чаевничали.

2

Сенная площадь – вот стихия Екатерины Львовны. Когда узнала она, что я продал книги, очень обрадовалась и с жаром меня похвалила:

– Молодец. Молодец! Так и надо. Надо все продавать. Теперь все продается.

Еще весной Екатерина Львовна поделила имущество по категориям – с таким расчетом, чтобы хватило на 500 дней (именно за 500 дней предполагалось тогда построить капитализм в России), и понесла в соответствии с разработанным графиком личные вещи на знаменитую барахолку. Насколько я понимаю, Екатерина Львовна капитализм пред-

ставляла как раз коммунизмом, куда можно войти без имущества. Не знаю, племянница ли на нее повлияла, или просто стало жалко посуду, но, когда очередь до стекла дошла (перед тем самым путчем), Екатерина Львовна вдруг обрзумилась, не стала продавать чашки и блюда, а стала продавать бутерброды. Это был более высокий уровень предпринимательства. Многотысячная барахолка, пребывавшая на свежем воздухе, все время хотела есть. Предпринимательницы вроде Екатерины Львовны, жившие рядом, обносили ряды бутербродами и блинами. К моему появлению в ее доме Екатерина Львовна уже всерьез подумывала о блинах. Но блины надо печь, бутерброды же с нехитрым *дефицитом* наподобие вареной колбасы покупались *по коммерческой цене* в ближайшей кулинарии. Для блинного предприятия Екатерине Львовне, кроме муки, требовался ассистент. Я наотрез отказался.

– Увольте. Мне некогда.

– Что значит некогда? – кипятилась под антресолями Екатерина Львовна. – Может, ты блины печь не умеешь? Так я научу.

– Нет. Спасибо. Я сам по себе.

(Вставать не хотелось, лежал на матрасе.)

– Сам по себе – быстро ноги протянешь. Надо занимать активную позицию в жизни. Где же твой *авангард*?

– Какой еще авангард?

– Сам знаешь какой.

Я не знал. Честно не знал. Я так и не узнал, что понимала Екатерина Львовна под *авангардом*.

А Сенная мне и без Екатерины понравилась Львовны, и без ее авангарда.

Все-таки в отличие от хозяйки-авангардистки, я оставался традиционалистом; моя собственная традиционалистическая природа уверенно подсказывала мне самый традиционный и в то же самое время самый простой, короткий и закономерный путь на Сенную.

Я просто снял часы однажды с руки и спустился вниз, к людям.

Екатерина Львовна поняла, что к производству блинов я не готов, и скрепя сердце осталась при своих бутербродах.

3

В том сентябре я целиком принадлежал Сенной площади. Если не дремал на антресолях Екатерины Львовны, значит был, скорее всего, на углу Сенной и Ефимова – был: сидел на деревянном ящике или – был: стоял на ногах, – но мог быть и поближе к метро, в более привилегированном месте.

На Сенной быть радостно, Сенная место такое.

Хочешь – будь, хочешь – не будь.

Всего удивительнее, что на Сенной я повстречал немало знакомых. Одни бесцельно шатались, пораженные невиданным изобилием. Другие приходили с целью купить что-ни-

будь конкретное – пилу по металлу или талоны на мыло. Третьи – продать – вилок набор или дачный карниз. Особо *крутых* (героин, редкоземельные элементы, калашников...) среди моих знакомцев не было, и я тоже при встрече не мог никого ничем удивить. Самый, пожалуй, крутой – мой случайный попутчик в прошлогодней поездке в Москву (доцент Института холодильной промышленности) – приволок увесистую греческую амфору с отбитым горлышком. А бывший завуч английской школы, с которым мы раньше пересекались в рюмочной на Суворовском проспекте, промышлял теперь пуговицами всех окрасов, размеров и форм и сам покупал, если попадались у кого-нибудь перламутровые. «Я от них, – говорил, – без ума».

Нет, я, конечно, далек от мысли, что нет ничего лучше Сенной площади. По крайней мере в Петербурге...

Ну и так далее.

Есть. Есть Невский проспект и другие достопримечательности...

Но вот в самом деле, на тогдашней Сенной я ни разу, к примеру, не встретил нищих, а на Невском проспекте с каждым месяцем их становилось все больше и больше. Оно и понятно, сидеть или стоять на Сенной с протянутой кепкой означало бы продавать эту самую кепку. Отчего же тогда не положить рядом подметку, шуруп, крышку от чайника, пустую банку от пива?.. И не так важно: купят, не купят. Главное, заявить!.. И никакого уныния!.. Тонус! Высокий тонус!..

А как она манит, как затягивает! Сегодня пришел с ча-сами, завтра принесешь старинный барометр, послезавтра – домашние тапочки, или нет, лучше значки, школьную твою коллекцию, столько лет пролежала без дела, Горький, Куйбышев, Калинин... города, имена, события... 50 лет Октябрю... 20 лет Заводу точных приборов... Прощай, прошлое! Прощай! Главное – не попасть под трамвай, он, погромыхивая, а на повороте с ужасным скрежетом, медленно, с трудом, еле-еле пробивается сквозь толпу – ну какое же скоростное движение может быть на Сенной площади? – тем более когда Долгострой Метростроя за огромным бетонным забором царственно занимает всю середину...

Она дышит историей.

Когда говорили на Сенной, что скоро Сенную разгонят, что тогдашний мэр города Собчак уже подписал будто бы какой-то грозный указ, всегда кто-нибудь в толпе обязательно восклицал: «Пусть только попробует!»

– Пусть только попробует. Будет бунт!

Бунт, бунт... Ужасное столпотворение... Тем более ужасное, что рисуется богатым воображением, или, скорее, бедной памятью, потому что не вспомнить, где об этом читал, не сам же придумал, не приснилось же это во сне. Как прибывает народ на Сенную, как шумят, как волнуются, руками размахивают...

– К топору!

А что такое Собчак?

И вдруг – расступились, умолкли. Государь встал в коляске и руку поднял. Государь:

– На колени! Просите у Бога прощения!

Он до этого что-то еще говорил. Я не помню, что он сказал, но помнил когда-то. Что не следует нам подражать, что ли, буйству французов и тогда же всю бушевавших поляков. И что вот вы-де забыли веру отцов. И Сенная, вся Сенная, вся как один, упав на колени, вся на Спас на Сенной со слезами стала молиться, и сам государь, усмиривший народ, молился со всеми на Спас-на-Сенной, где теперь интенсивно скупают валюту, ордена и медали, иконы и золотосодержащие микросхемы какие-то новые люди с особой печатью отличия на лице – от нас, от меня, хотя, если речь обо мне, я себя не видел давно уже в зеркале.

А Собчак-то? Он-то откуда? Он-то кто?

И опера Глинки. Мой собственный Глинка. Глинка-Неглинка, поют в голове.

– Книг давно не читаю.

– Я тоже, – признается приятель, – скоро в Польшу опять.

Я стою со значками, мой университетский товарищ – с банкой французского какао, привез еще летом из Польши.

Мой приятель как бы историк – раз в неделю, в Лицее...

Царскосельский учитель...

Я бы мог спросить про холерный бунт, да боюсь, он тоже не помнит.

Что-то со мной стало происходить неладное. Что – мне

трудно было понять, но в одном я себе отчет отдавал: это сны – стали мне видеться-слышаться странные сны, ладно бы музыкальные, это пускай, да ведь чересчур выразительные какие-то – рельефные, выпуклые, кинематографичные, с такими замысловатыми поворотами, с такими бывало причудливостями и неожиданностями, что, случалось, пробуждался я не иначе по нескромности своей и самолюбивости, как с тщеславной мыслью об авторстве: да неужто я сам так сочинительствую? Раньше я сны забывал моментально, плохой из меня сновидец. Может, и сны качественные, даже наверняка, но для бодрствующего для меня вся эта жизнь во сне втуне прошла, почти ничего не осталось. А тут вдруг помнится до мельчайших подробностей, а то как бы и не было ничего, и вдруг посреди дня весь сон сам собой вспоминается. И все было бы ничего, если бы явь, соответственно, не тускнела и, соответственно, если бы не забывалась быстрее, чем сон, куда более яркий, значительный, сильный. Я тогда еще до того не дошел, чтобы путать их, сон и действительность, но потом, когда вспоминались, сомневался, к чему отнести, не приснилось ли это? Получалось, что конец сентября больше снами запомнился. На Камчатку поехал, а в поезде мухи летают, цеце, пассажиры боятся укусов... Купил у Валеры на греческом базаре ломаный глобус с двумя Австралиями, а хозяйка, подмигивая, молодец, говорит, хорошо в нем чай грузинский от Никиты Сергеевича прятать; глядишь, выживем... Или вот с покойным Потапенко из четвертой палаты

(перелом черепа в трех местах) вместе стихи сочиняем, запомнилось только:

ужасней шепота натурщиц
халтурщик сукин сын халтурщик

– кто халтурщик? почему халтурщик? зачем сукин сын?.. И еще – профрейдистское: Екатерина Львовна будто простужена и просит горчичник ей поставить, а мне как-то неловко ей ставить горчичник, и вру я ей, чтобы горчичник не ставить, будто в Крым горчичник уехал, зато есть, говорю, для согрева чуть-чуть, и, гляжу, стакан уже на столе, а в нем зубы вставные... Стал я частенько во сне поддавать, до головокружения налимонивался. Во сне. Ну а в жизни было не так выразительно. Как бы и не было – так было невыразительно. Дни слеплялись в комок. Листья верно желтели. Сотрясался Советский Союз. Возрождалась, считалось, Россия.

4

В тот раз бутерброды появились раньше обычного – около десяти – самый ранний по времени намек на закуску. У приятеля моего какао еще не купили, но лично мои дела обстояли блестяще: я отдал иностранцу всю серию «Древняя Русь», 24 значка, включая герб города Нарвы. Наш угол, сгруппировавшись, позволил себе немного расслабиться. Почему-то

разговор зашел обо мне, меня убеждали не делать глупостей.

– Не вздумай судиться, – выслушивал я увещевания, – только силы потратишь зря. Что потеряно – не вернуть.

– Это гиблое дело, – поддакивал мой неплатежеспособный приятель, подавая стакан. – Что угодно, только не суд.

– Надо было дверные ручки снять обязательно. Неужели не знал?

Все жалели пропавшие ручки.

– И шпингалеты.

Не из бронзы ли были мои шпингалеты на окнах, попытался я вспомнить. Навряд ли. Что меня они обсуждают, мне это, однако, не нравилось.

– И вторую, как миленький, тоже отдашь. Будь уверен, закон на их стороне. По закону теперь, если собака породистая, с родословной, с медалями, ей отдельная комната полагается. Собчак.

Я не верил, не мог он такого придумать. Собчак.

Вспомнил сон про Эльвиру.

– К топору!

Гадкий сон, тем более гадкий, что никогда до сих пор – даже во сне – за мной кровожадности не замечалось. А приснилось, что хочу зарубить топором их Эльвиру. Туристским топориком. И что будто в этом вопрос всей моей жизни: дерьмо я, вопрос, или все ж не дерьмо? дерьмо или нет? (не к деньгам ли приснилось?..) чтоб топориком тюкнуть?.. И что будто Эльвира, с одной стороны, – воплощение зла, исчадие ада,

но, с другой стороны, должен я преступить, ибо есть тут порог, ибо в целом к собакам отношусь я нормально, без ненависти, хорошо. И долго терзаюсь. Истерзавшись, пробуя лезвие пальцем, решаюсь я: да! Да, готов! Я готов! Да, да! Да. Вдруг – звонок. Долгий-долгий. Эльвира с прогулки пришла. От звонка и проснулся. Был мнимый звонок.

Этот сон, когда вспомнился, на меня очень сильно подействовал. Что-то было в том сне издевательское, пародийное. Надо мной словно кто-то решил подшутить. Я ж не полный кретин. Я же вижу.

Вижу – подходит старушка к приятелю моему:

– Милый, дай понюхать какао. Все равно не купить, дай понюхать только... Разреши.

Разрешает. Банку открыл. (И все наяву.)

– Ой. Спасибо, как пахнет!.. Словно молодость вспомнила... Пахнет-то как!.. Нам такое в войну присылали...

– Знаешь, мать, – произносит приятель, а голос дрожит, – я бы дал тебе, мать, но не дам, я пойду, мать, отправлю отцу в Ростов-на-Дону.

И уходит, не попрощавшись: растрогался. А я остаюсь. Но потом я оставил стакан и оставил компанию тоже.

Я пошел бродить по Садовой. Не знаю что, но что-то нехорошее со мной начиналось, я не хотел нехорошего, и, чтобы было все хорошо в моем представлении, я представил себе, я представил в себе ощущение бодрости будто бы мысли. И слышалась гамма, простая, будто я наступаю на клавиши, так

вот иду... Если это пародия, – упрямо и бодро рассуждал я о том ничтожнейшем сне, – как посмел я во сне не суметь разглядеть ее, не заметить грубой издевки, воспринять все всерьез? А с другой стороны, если я, если именно я, сам себя так сподобился выразить, почему я позволил себе над собою так издеваться? Мстить кому бы то ни было (убеждал я себя), а тем более невинной собаке, у меня и в мыслях быть не могло. Этот сон мне приснился несправедливо.

Так рассуждая, я нечаянно оказался на набережной реки Фонтанки; стоило мне взглянуть себе под ноги, как стало понятно происхождение сна. Вот я что вспомнил. Вчера... да, вчера, как и сегодня, я шел вдоль... в до-ре-ми-фа-соль... вдоль Фонтанки, ля-си, точно так же ступал – осторожно – потому что иначе ступать здесь нельзя, невозможно: на каждом шагу – я ничуть не преувеличиваю – буквально на каждом – лежат экскременты собачьи... Вот и разгадка. От загаженного тротуара мысль моя вчера невольно обратилась к Эльвире, я недобрым словом вспомнил ее, ну а дальше, что касается сна, это дело уже сновидческих механизмов. Но и это не все. Мне навстречу вчера шел худой гражданин; судя по поступи, озабоченный тем же (я вспомнил). Без труда догадавшись, о чем я думаю, он обратился ко мне с короткой речью:

– Народ безмолвствует, а воры воруют. Дерьмо лежит прямо на улице. Владельцы собак перестали убирать за своими собаками. Грядут тяжелые испытания. Курс рубля падает.

Власть гниет. Разваливается производство. Большинство писателей – бездари. Помните, что я вам сказал. Я знаю. Я сам депутат. Моя фамилия Скоторезов.

– Скоторезов, – повторил я вслед уходящему.

Он же, повернувший на мост и напряженно запоминаемый мною, высокий, худой, но вынужденно смотрящий себе под ноги, неожиданно уподобился гвоздю с помятой шляпкой – таким и запомнился, – вбитым на границе двух административных районов Санкт-Петербурга – Ленинского и Октябрьского – в деревянный мост по имени Горсткин мост, на котором курить запрещается согласно табличке. И хотя собака – далеко не скотина, выше, чем скотина (и больше, чем скотина, друг человека), человек с резкой фамилией Скоторезов и с резвым скоторезовским темпераментом врезался в память мою и осел в подсознании, чтобы в должный час подпитать мой сон прихотливым пафосом собакоборчества. Мысль моя в тот день, я заметил (если это был тот день, о котором я говорю), начала пробуксовывать. Я ж ее не убил, а всего лишь хотел убить, думал я. Гвоздь торчал из моста, а я уходил – уходил по направлению к дому. Кто кого? – думал я, ни о ком конкретно не думая. Ощущение «что-то не так», иногда внезапно разливающееся по телу (как если бы с горки да вниз, когда горки, казалось бы, быть не должно), через шаг-другой затухало, уступая тяжелой сосредоточенности на деталях внешнего мира: водосточной трубе, крышке люка, трещинах на тротуаре. Тупое удовлетворение точностью на-

блюдений – дисциплинирующее. Вот, наблюдал я, сосредоточиваясь, пропали из города воробьи, их более не подкармливают старожилы. Вот, наблюдал, беременных нет больше совсем, никто не рожает. Зато много бубнящих. В самом деле, отчего так много встречается бубнящих? Каждый третий встречный бубнит. Идет и бубнит. Он бубнит. Мы бубним. Мне бубнится. Я заставил себя не бубнить и сразу же оказался на лестнице – около подоконника. На подоконнике лежали окурки. Здесь курят пацаны. Пол-литровая банка окурков стоит на Сенной три рубля. Даже крыша когда у тебя поедет, пробубнило во мне, не пойдешь продавать на Сенную окурки. Поехали, поехали, цеплялось слово за слово, поехали в Еристань. Окурки сортировались. Покрупнее откладывались мною в сторону. Потом то ли шел, то ли плыл, то ли лежал – то и было: лежал. – А не эпилепсия ли это? – спросил государь и схватил меня за ногу. Вскрикнув, я проснулся.

Екатерина Львовна трясла мою ногу с остервенением:

– Вставай, вставай, к телефону!

У Екатерины Львовны нет телефона – обстоятельство, которому не успел удивиться.

– Осторожно, тебе говорят... ой, какой ты... смотри, – она помогала спуститься по лестнице мне, – упадешь, костей не соберем. Аккуратней.

– Какой час? – спросил я, спустившись в кухню.

– Откуда ж мне знать? Мы ж с тобой часы наши... тютю...

Мне показалась, что она шутит, этого быть не могло...
чтобы тю-тю.

И мои тоже – тю-тю?

И ее тоже – тю-тю?

Тю-тю.

Мы пришли к соседке – на этаж ниже. Я никогда не был в этой квартире. Прихожая. Круглый столик. Тю-тю. Трубка снята и ждет меня, лежа. Соседка спряталась от меня, мне так показалось. Это она исполняла гаммы, у нее пианино. Проснись! – дал я команду себе и взял трубку.

– Алле.

– Здравствуйте, – слышалось в трубке, – здравствуйте,
Олег Николаевич.

Я с ней поздоровался:

– Здравствуйте. (...с трубкой.)

– Хорошо? Хорошо ли здравствуете? Как здоровье ваше?
(Тю-тю?)

– Хорошо, – отвечаю, – спасибо, хорошее.

– Это вас Долмат Фомич беспокоит. Помните, мы в троллейбусе ехали?.. У меня еще книга ваша осталась.

– Книга?.. Моя?

– Ваш экземпляр... Мне Аглая Петровна про вас рассказывала, как найти. Через Аглаю Петровну и Надежду Евстигнеевну.

– Какую Евстигнеевну?

– Через Надежду Евстигнеевну, которая в вашей квартире

живет. Вместе с Валерием Игнатьевичем. Они телефон подсказали.

– Как же, как же... я понял.

– Олег Николаевич, дорогой, у меня радостная новость для вас. Сюрприз. Я писал вам в больницу, вы помните?

– Да, спасибо, был тронут... и этот... как его... киви...

– Экзотический фрукт...

– Да, спасибо, я получил...

– Ну так слушайте...

– Да...

– Олег Николаевич?..

– Да...

– Вы приняты в наше Общество!

– Да?..

– Общество друзей книги!

Что же мне оставалось, как опять «да» не спросить.

Я и спросил:

– Да?

– Да, Олег Николаевич! Поздравляю вас! Состоялся Совет, и ни одного голоса против! Все – за! Редчайший случай!.. С вас даже не требуется формального заявления, моей рекомендации оказалось достаточно. Так что примите мои искренние поздравления, Олег Николаевич.

– Спасибо, – отвечаю растерянно.

Долмат Фомич забеспокоился:

– Ну что вы, что вы, это я вас благодарить должен!.. Такую

книгу мне одолжили!.. С печатью... С печатью такой замечательной!.. Не сомневайтесь, Олег Николаевич, я все переснял, зарегистрировал... Спасибо вам... большое спасибо...

Тут я вдруг ощутил необходимость самому членораздельно высказаться и вроде того залепетал, что рад, что не меньше моего Долмат Фомич тоже рад и что оказался ему чем-то полезен, – а сам думаю: на кой леший мне общество это?

– Олег Николаевич, – между тем продолжал Долмат Фомич, – завтра у нас очередное заседание состоится. Очень вас прошу прийти. Заодно и книгу верну. Приходите, не пожалеете, доклад будет интересный. И еще кое-что.

– Но... простите... мне как-то неловко в некотором смысле... знаете, такое ощущение, что я злоупотребляю вашим доверием...

– Только этого не надо. Завтра в семь вечера в Доме писателей на Шпалерной. Знаете дворец Шереметева?

– Так вы писатели, значит?

Долмат Фомич словно даже обиделся.

– Ни в коем случае. К писателям никакого отношения не имеем. Просто мы помещение там арендуем, Дубовую гостиную – раз в неделю. Запомните, мы – Общество друзей книги. Общество друзей книги. Повторите, пожалуйста, – попросил Долмат Фомич неожиданно.

– Общество друзей книги, – произнес я нерешительно.

– До завтра. Жму руку.

– Жму руку, – повторил я опять и как будто в самом деле

пожал руку своему собеседнику.

– Что с тобой? – спросила меня Екатерина Львовна, когда я положил трубку. – Побледнел как покойник.

– Ничего, ничего, все в порядке.

Когда я поднимался наверх, меня заметно пошатывало.

Тю-тю.

Глава 3

Друзья книги

1

Иначе Дом назывался Дворцом – Дворцом Шереметева. Хотя, говорят, он не был дворцом в силу какого-то формального правила: будто бы никто из царской семьи не ночевал в этих стенах...

В этих стенах, по мнению некоторых, бродят по ночам привидения. Речь не о них. О живых.

Там я познакомился с живыми писателями, но сначала как раз не с писателями, а, наоборот, с читателями, дотошными и ретивыми, впрочем в силу своей необъяснимой ревности не признающими тех живых, с которыми, говорю, я потом познакомился, классиками или хотя бы не классиками.

Только сразу хочу подчеркнуть, к поджогу Дома писателей я не имею ни малейшего отношения. Дом сгорел через три года после описываемых событий.

Нет – не о себе; но будь он хоть трижды провидцем, никто из обитателей Дома не смог бы в ту осень даже вообразить подобное: великолепный особняк с дворцовыми гостиными, роскошной библиотекой, величественным актовым за-

лом превращается, объятый пламенем, в жуткий кирпичный футляр, который потом вообще заколотят на годы...

Соблазн оживить повествование описанием грандиозного пожара, исполненного невероятной символики, по правде говоря, имеет присутствовать (и есть что сказать, главное), но оставим эту тему в покое. Это другая история.

Итак, первым в Доме писателей я встретил вахтера. Точнее, вахтер встретил меня. Он встретил меня решительным возгласом:

– Пропуск!

Нет, не «пропуск»:

– Билет!

То есть членский билет писательского Союза.

Понятно, я, посторонний, был без билета.

– Куда?!

Я сказал, что в Дубовую...

– К кому?! – был краток вахтер.

Не будучи уверенным, что он знает Долмата Фомича, все-таки опять же не писателя, а даже, наоборот, как я уже отметил, читателя, я было взялся объяснить вахтеру, что там, в Дубовой, заседает некое общество, если я, конечно, правильно понял... которое...

– Я знаю, кто заседает в Дубовой!

Ну что с таким разговаривать? Хотел повернуться и уйти. Стоило тащиться на эту Шпалерную...

И тут вахтер преобразился.

– Вижу, вижу! Что же я, голова садовая! Ай-яй-яй!.. – запричитал вахтер покаянно. – Вас же только что приняли!.. Да? Вы же член Общества библиофилов? Да? Идемте. – Он вынырнул из-за своей загородки.

Прежней спеси и след остыл. Сам повел меня, демонстрируя теперь чудеса предупредительности. В гардеробе – где было объявлено мне: «Гардероб!» (словно я никогда не видел гардероба) – он чуть не снял с меня куртку мою китайскую, и мне стоило труда изловчиться разоблачиться без его непрошенной помощи. Далее он рекомендовал: «Туалет», потому что мы проходили мимо туалета. И сказал про статую Маяковского: «Маяковский».

Дом писателя был имени В. В. Маяковского.

Сам В. В. стоял у подножия лестницы, он был высок и надтреснут. Вахтер извинялся за качество гипса: гипс уже старенький, рыхлый, а тот бугай (я не спрашивал который) – молодой, резвый, вот в день путча злость и сорвал, отломал голову – за стихи, поди, о советском паспорте. Еле приклеили.

А поскольку смотрел Маяковский на парадный вход, по видимому надежно закрытый, вахтер, перехватив взгляд статуи, счел необходимым сказать мне:

– Открывается, только когда панихида гражданская... Отсюда выносят... Смертность у писателей – увы, увы...

Мы поднялись по мраморным ступеням на уровень головы Маяковского, здесь была просторная площадка, до Дубо-

вой гостиной семь шагов каких-нибудь, и вдруг вахтер перегородил путь:

– А загадочку не хотите ли разгадать? Хорошая такая. Я всем загадываю. Живая живулечка сидит на живом стулечке, тербит живое мясо.

Не могу объяснить, что произошло со мною, было ли это озарение, или какое-то внутреннее чутье безотчетно себя проявило, но ответил я незамедлительно:

– Младенец, сосущий молоко матери.

Вахтер уставился на меня обалдело, на губах задрожала кривая улыбка, и, почтительно тронув меня за локоть, пятясь, ретировался.

2

На самом деле я и не собирался входить в Дубовую гостиную. Я хотел подойти к Долмату Фомичу после. Потому и опоздал нарочно. Но пока они еще заседали, решил подождать, благо рядом был стул, вот я и сел.

Сижу, мимо нет-нет да и пройдет писатель.

Я тогда в лицо никого не знал из писателей. Писатели и писатели. Но некоторые были приметные. Вот идет, на клюку опираясь, – бородат, волосат, а кто – кто, кто? конь в пальто! – теперь-то я точно знаю кто: живой классик, поэт... Еще примета: встретишь – к перемене погоды...

А вот двое идут: один невысокий, в строгом костюме, при

галстук, без бороды, причесанный весь и взгляд суровый, холодный, сразу и не догадаешься, что поэт, а другой, приземистый, в свитере в сером и с бородой, а лицо доброе-доброе, догадайся, что критик... друзья!

А вот седовласый, волосы назад зачесаны, военная осанка, идет уверенно, – знаю кто: я его книжки еще в раннем детстве читал – «Зеленая рыбка», «Самый лучший пароход»...

Еще была серия такая – «Мои первые книжки»...

– Здравствуйте, Святослав Владимирович, – мог бы сказать, – я ваши книжки в детстве читал. Была такая серия «Мои первые книжки».

Но не сказал. Потому что не знал тогда, что он – это он (кого в детстве читал). А если б и знал, тогда что ж из этого?

Короче, я убивал время.

Некая писательница остановилась:

– Если вы в бильярдную, лучше зайти с той стороны.

Ага, есть бильярдная.

– Нет, я в Дубовую.

Она хотела сказать мне что-то про Дубовую (или про меня в свете Дубовой), но не сказала, прошла.

И тогда я приоткрыл дверь.

И когда приоткрыл дверь – лишь посмотреть, там ли сидят библиофилы, – даже растерялся от неожиданности, – от того что был сразу ими замечен. Все повернулись в мою сторону, словно только и ждали меня, а Долмат Фомич (я его еще и распознать не успел) объявил радостно: «Вот он! Олег

Николаевич! Олег Николаевич, милости просим! Вот место свободное».

Вошел. (Все на меня глядят.) Вот место свободное. Спасибо. Сел на старинный стул с резной спинкой (тут все старинное).

Один во главе стола стоит, – наверное, доклад читал. Ждет. Рядом Долмат Фомич сидит и все про меня талдычит:

– Это, прошу любить и жаловать, Олег Николаевич. Я рассказывал, вы знаете. Олег Николаевич...

Я глупо головой киваю, раскланиваюсь. Мне товарищескими улыбками отвечают.

– Да-да, – говорит Долмат Фомич докладчику, моложавому старичку с лицом аскета. – Извините. Мы слушаем. Потрясающе интересно.

– Ну так я продолжаю?

– Будьте любезны.

– На чем мы остановились?..

– На мотивах.

– Коллеги, выделим два мотива и рассмотрим их поподробнее. Первый. Бытовой мотив: тривиальное отсутствие карандаша. Второй. Конспирологический: прошу внимания, сознательное сокрытие маргиналии от глаз постороннего...

Моложавый старичок наполнил Дубовую ровно-въедливым голосом профессионального обозревателя сложных тем.

Не скажу, что я сразу понял, о чем доклад. Сначала мне

показалось, о криминалистике. Проблема: когда подчеркивают в книге ногтем, как определить каким – указательного пальца или мизинца? Сложный вопрос. Тут, оказывается, пять методов, у каждого метода – свой критерий... Только доклад не о криминалистике был. А вот о чем: о маргиналистике, вспомогательной книговедческой дисциплине, о существовании которой мне до того раза даже слышать не доводилось. В общем – о маргиналиях, владельческих записях на полях и вообще о книжных пометах, всяких там крестиках, галочках, вплоть до отчеркиваний ногтем, едва заметных и потому особенно интересных для исследователя. Оказывается, докладчик не один год работал в этом направлении – систематизировал, описывал, соотносил. Я потом узнал, как его звали. Профессор Скворлыгин. И был он в первую очередь палеопатологом, одним из ведущих специалистов по болезням доисторических животных и первобытных людей; а кроме того – библиофилом, страстным, неистовым, с весьма и весьма специфическим интересом. Это уже мне все объяснил Долмат Фомич сразу же после доклада, но тогда, слушая, вернее, как раз не слушая, потому что очень уж было скучно, я еще ничего не знал о многоумном профессоре. А лекция была – святых вон выноси.

Скучная была лекция. Скучали все, не только я. Долмат Фомич при всей своей заинтересованности, несомненно показной, так старательно напрягал мышцы лица, подавляя зевоту, что казалось, это челюсть его звонко щелкает, а не би-

льярдные шары в соседней комнате. Я начинал жалеть, что пришел, а когда докладчик приступил к Достоевскому, к его беглым записям на широких полях журнала «Ребус», январь 1880-го, да причем которых за утратой экземпляра не видел никто, а вот он, профессор Скворлыгин, с помощью вторичных данных реконструировал смело, мне просто захотелось встать и уйти. Но я не ушел никуда. Я заставил себя отвлечься. Я вслушивался в стуки шаров с еще большим вниманием. Я гадал над судьбой каждого шара за стенкой. Играли неторопливо, неспешно. Медленно обходили стол и долго прицеливались. Один бил сильно, шар, я слышал, отлетал иногда от трех бортов, другой – тихо, поаккуратнее, порасчетливее, налегая, должно быть, на средние лузы. Он-то и выигрывал, я был в этом уверен. В «американку» играли. Я был вместе с ними. Здесь меня не было.

Между тем аудитория оживилась, что-то было такое сказано, что заставило всех встрепнуться. Публика негромко переговаривалась. Многие стали выступать с места. Профессорский монолог сменился общей беседой, не так чтобы сильно непринужденной, но все-таки достаточно оживленной – дружеской и раздумчивой. Речь шла о книгах Терентьева. Фамилия эта мне ничего не говорила, но я догадался, что Терентьев был членом Общества, здесь его знали все. «Милейший Всеволод Иванович», «наш дорогой Иванович», «Иваныч», «Сева», «незабвенный»... – кто с пие-тетом, кто, напротив, с подчеркнутым запанибратством, как

бывает, когда говорят о покойнике очень близкие люди – с ощущением, что ли, вины: ты-то, друг, дескать, все теперь понял, все теперь знаешь, это нам здешним тырк-пырк, прости, – а кто с неизбывным таким удивлением: «трудно поверить», «невозможно представить», – так вот они все и говорили об этом Терентьеве с места; и докладчик тоже говорил изменившимся голосом и лицом подобрев, оставив тон академический, всю свою лексику наукообразную – о Терентьеве, хотя больше о маргиналиях, о том, как проступает сквозь них лицо конкретного человека, в смысле характер активно-го читателя, так сказать. Он если, значит, склонен к пометам, весь в них сам – в галочках на полях, крючочках, нотабене, в знаках вопросительных и восклицательных и других каких-нибудь, только ему и понятных, – подчеркнет ли он так слово или вот этак и напишет ли что где-нибудь сбоку. Замечание ли, как, допустим, Блок, оказывается, на 160-й странице третьего тома Бунина чиркнул небрежно: «Тютчев лучше писал», или, как, взять Пушкина – на письме Вяземскому – знаменитое, афористичное, убедительное: «Поэзия выше прозы». Или что-то вроде того. За точность цитаты не ручаюсь, но смысл передан верно.

Вот две книги из личной библиотеки Всеволода Ивановича Терентьева; одна – просветительская брошюра, очень небрежно изданная, пособие по садоводству, другая – знаменитая «Кулинария», памятник советской полиграфии 50-х годов, едва ли не самая толстая книга, изданная в СССР мас-

совым тиражом (помнится, СССР в тот день еще существовал худо-бедно, официально развалился он позже, через месяца три, в декабре, если не ошибаюсь...). Так вот, на страницах обеих книг можно найти, объяснил нам Скворлыгин, пометы, сделанные рукой Всеволода Ивановича Терентьева. Что до брошюры, то это исправление опечаток, причем вынесенное на поля, – докладчик заверил аудиторию, что он скрупулезно изучил текст брошюры и, будьте уверены, нет там никаких иных опечаток сверх тех двадцати четырех, исправленных ее, брошюры, владельцем.

– Посмотрите, – говорил профессор Скворлыгин, показывая нам раскрытое на середине пособие (что-то действительно было исправлено), – это ли не аккуратность? Я сильнее скажу, это ли не педантичность, в хорошем смысле, даже еще сильнее: не фанатичность, в хорошем смысле опять же, не это ли, без чего благоговейность Всеволода Ивановича, с которой он текст читал и читил – любой, не важно какой! – представить себе проблематично? Это, это! По существу, он выполнил работу корректора. Сам. По внутреннему побуждению. Он даже обратился к словарю, чтобы исправить латинское слово... название... сейчас найду... сорта крыжовника... вот! Насколько я знаю, Всеволод не владел латынью. Все были поражены.

Но еще больше привлекли внимание маргиналии в кулинарной книге. В конце своей жизни Терентьев, выясняется, находился на бескислотной диете о чем неоспоримо свиде-

тельствствовали записи, оставленные им напротив ряда рецептов. Этаким дневник, после каждой записи дата. Библиофилы стали просить докладчика зачитать, а их было порядком, я ж со своей стороны, чтобы убить время, подсчитывал клеточки на экстравагантном пиджаке сидевшего передо мной библиофила, а потом, вновь отвлеченный бильярдом за стенкой, прислушивался, как и прежде, к щелкающим ударам.

Диетические записи долго еще обсуждались.

– Ну как? – подошел ко мне Долмат Фомич, когда лекция завершилась. Он держал книгу, обернутую черной бумагой, я не сразу догадался, что это моя, которую у меня тогда не приняли в «Букинист». – Вам понравилось выступление? Не правда ли, хорошо? – и не дожидаясь ответа, весело аттестовал докладчика: – Энциклопедист!

В Дубовой гостиной стоял ровный кулуарный гул. Библиофилы, разбившись на кучки, предавались общению.

Похоже, Долмат Фомич был уязвлен моим равнодушием.

– Удивительный человек, – продолжал он расхваливать докладчика. – Замечательный исследователь. Голова.

Тогда-то я и услышал о палеопатологии. Я узнал, как увлечен ею профессор Скворлыгин и как увлечение палеопатологией этой самой ни чуть не мешает профессору Скворлыгину заниматься еще и маргиналистикой.

– Столько знать, столько знать!.. Впрочем, – тут Долмат Фомич хитро прищурился, – у нас все интересные. Неинтересных у нас нет людей. И быть не может. Спасибо вам

огромное. Возвращаю вам с благодарностью.

Протянул мне книгу мою.

– Ах да, – вспомнил я, за чем пришел (пряча книжку под мышку). – Вам она пригодилась?

– Еще как! Такая печать великолепная! «Кабинет для изучения массажа»... Круглая. В старой орфографии. И так пропечаталась... Я ведь справки навел. Был действительно Струц. Струц Ганс Федорович, и была у него действительно Школа изучения массажа и лечебной гимнастики, с кабинетом...

– Вот как, – сказал я угрюмо.

– Вашу печать я сфотографировал (ксерокс по ту пору был еще не настоль популярен...) и занес в особый реестр. Вы увидите... Я вам покажу когда-нибудь... Похвастаюсь коллекцией...

Я сказал:

– Долмат Фомич. Боюсь вас разочаровать, мне кажется, вы во мне сильно ошибаетесь. Конечно, спасибо за внимание, но ведь я здесь, честно говоря, с боку припеку...

Лицо Долмата Фомича сморщилось, точно он укусил лимон или услышал невероятную пошлость.

– Только честных слов, умоляю, не надо... Сюда, пожалуйста, – отвел меня в сторону. – Я редко ошибаюсь в людях. Вы – наш. Уверяю вас, вы с нами, с нами... Вам не может здесь не понравиться. Почему вам не нравится?

– Мне нравится. Но дело в другом...

– Дело в том, – подхватил Долмат Фомич, – в том, что вы еще не освоились. Понимаю, понимаю. Осваивайтесь, я помогу. Уверяю вас. Вы скоро сами вызоветесь прочитать доклад с этой трибуны.

Никакой трибуны в Дубовой гостинной не было.

– Вы читали Монтескье «Персидские письма»?

– Нет.

– Ничего.

– Долмат Фомич, я далек от всего этого. Я уже давно не читаю книг, уж если вам хочется знать...

– Не хочется, не хочется...

– У меня Достоевский был, тридцать томов...

– Вы нездоровы, Олег Николаевич, вы еще не оправились после болезни. Не хочу вас пугать, вы бледные, исхудавшие, с огоньком в глазах болезненным... я вас первый раз не таким встретил. Не возражайте. Вам надо очень серьезно задуматься о своем здоровье и в первую очередь о питании. А в обиду мы вас никому не дадим, так и знайте!

«Так и знайте» сказано было в сторону дубовой двери, за которой играли в бильярд мои, надо полагать, недоброжелатели.

К нам подошел профессор Скворлыгин:

– Если надо лекарства, могу помочь.

– А? – акнул мне Долмат Фомич, мол, а я что говорил...

– Мне ничего не надо. – Я начинал раздражаться. – Большое спасибо.

Подошел другой библиофил и, склонив голову набок, уставился на меня, улыбаясь.

– Олег Николаевич претерпевает финансовые затруднения, – неожиданно сообщил Долмат Фомич. – Он не трудоустроен.

Не успел я и рта открыть, как вновь подошедший радостно вымолвил:

– Это ерунда. Сейчас придумаем.

– У меня на кафедре есть место хранителя фондов, – сказал профессор Скворлыгин.

– А вы не занимались никогда журналистикой? – спросил тот, улыбающийся.

– Нет, Семен Семенович, – ответил за меня Долмат Фомич.

– Это ничего. Мы затеваем газету... библиофильскую... «Общий друг» называется... Почему бы вам не поучаствовать?

– Олег Николаевич, – сказал Долмат Фомич, – незаурядный стилист, я чувствую это на расстоянии.

– В таком случае что вам ближе? «Библиография», «Новинки», «Наша коллекция», «Колонки для всех»?

– «Колонки для всех», – не моргнув глазом ответил Долмат Фомич.

– Кроссворд?

– Кроссворд? – переспросил Долмат Фомич заинтересованно.

– Какой, к черту, кроссворд? – воскликнул я.

– Тогда «Трактир», кулинарная рубрика.

И тут произошло невероятное: они мне выдали аванс. «Константин Адольфович, можно вас на минутку... Выдайте, пожалуйста, аванс молодому человеку, он будет вести у нас кулинарную рубрику...» – Константин Адольфович, как выяснилось казначей общества, немедленно отсчитал мне две тысячи рублей – сумму на тот день весьма солидную. Я растерянно держал деньги в руке, не зная, что и сказать, а Долмат Фомич тем временем мне втолковывал:

– Работа несложная, творческая, вам понравится. Найдете цитату из классика... «Ромштекс окровавленный»... как там дальше?.. «и Страсбурга пирог нетленный»... сначала цитату приводите, а потом рецепт из кулинарной книги, как тот же ромштекс приготовить...

– Ростбиф, а не ромштекс окровавленный, – весело возразил Долмату Фомичу профессор Скворлыгин. – «И трюфли, роскошь юных лет, французской кухни лучший свет...»

– «Меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым», – поспешил реабилитироваться Долмат Фомич. – Иными словами, Семен Семеныч, я не сомневаюсь, что нам всем повезло: с газетой согласился сотрудничать такой большой эрудит.

– А есть ли у вас кулинарная книга? – обратился ко мне профессор Скворлыгин.

– Думаю, что нет, – быстро ответил Долмат Фомич.

– Ну тогда я дам вам экземпляр покойного Всеволода Ивановича Терентьева.

– Тот самый? – спросил Семен Семенович испуганно.

– Да, это ответственный шаг, – сказал Долмат Фомич. – Это не шутка.

– Но ведь там же записи на полях!..

– Однако, – проговорил Долмат Фомич, – Олег Николаевич достоин доверия.

– Я тоже вижу, достоин доверия, – изрек палеопатолог с какой-то возмутительно неуместной торжественностью.

– Я тоже... собственно... вижу, – поспешно согласился Семен Семенович и для пущей убедительности кивнул.

Теперь они обсуждали достоинства книги.

– Смотрите, какая большая. – Профессор Скворлыгин любовно ее перелистывал. – Государственное издательство торговой литературы. Москва, тысяча девятьсот пятьдесят пятый год. Ее до сих пор называют сталинской, хотя сам Сталин уже, как вы знаете, лежал в Мавзолее два года, такая фундаментальная.

– А страниц-то, страниц-то... без малого тысяча! – зачарованно произнес Семен Семенович.

– Две с половиной тысячи столбцов! – отчеканил Долмат Фомич.

– Одних цветных иллюстраций двести листов!

– И это при тираже полмиллиона!

– А давайте-ка я вам прочитаю, что сказал академик Пав-

лов. Эпиграф. – Профессор Скворлыгин стал читать с выражением: – «...Нормальная и полезная еда есть еда с аппетитом, еда с испытываемым наслаждением...»

– Прелесть, – умилился Долмат Фомич. – Слов нет. Прелесть.

Положить фолиант мне некуда было. Пришлось внять увещеваниям профессора и взять его старомодный портфель с металлической пластинкой «Дорогому Скворлыгину от сослуживцев».

Решили, что недели мне будет достаточно. Через неделю, сказал Долмат Фомич, ко мне придет курьер, я ему и отдам приготовленное.

– Я бы мог и сам занести.

– Нет-нет, у нас еще нет офиса. Главного редактора непросто найти. С курьером надежнее.

– А разве вы не главный редактор? – спросил я Семена Семеновича.

– Нет, что вы, главный редактор другой... – Он хотел мне что-то сказать о главном редакторе, но нас прервали.

– Господа! – воззвал к присутствующим Константин Адольфович. – У меня осталось три лотерейных билета! Есть ли такие, кто еще не получил билет Дантевской лотереи?

– Олег Николаевич не получал. Дайте Олегу Николаевичу!

– Только, – произнес Долмат Фомич шутливым тоном, –

Олегу Николаевичу обязательно выигрышный.

– Обязательно, – сказал казначей, поднося мне три билета. – На выбор.

– Мне, кажется тот, – сказал Семен Семенович.

– А по-моему, этот, – возразил профессор Скворлыгин.

– Я сам знаю какой, – сказал Адольф Константинович. –

Вот вам билет. Берите.

Я взял.

3

Всего замечательнее, что на этом наше собрание не закончилось, имело быть продолжение, причем в более узком кругу, довольно-таки для меня неожиданное. Из Дубовой гостиной мы с Долматом Фомичом выходили в числе последних, большинство библиофилов к этому времени успело разойтись. Я тоже хотел повернуть направо, в сторону Маяковского и гардероба, но Долмат Фомич меня остановил: «Не сюда, не сюда, сюда, пожалуйста...» Здесь была еще одна дверь. – «Пожалуйста, милости просим», – он открыл, приглашая. Не зная, что там, я вместе с другими, оставшимися и, конечно, что там, отлично знавшими библиофилами прошел сквозь какой-то проходной чуланчик и очутился в изумительном по красоте помещении, стилизованном под нечто вроде фаустовского кабинета. Первое, что бросилось в глаза, был роскошный витраж: два льва держали щит, украшенный коро-

ной, – родовой герб давнего владельца дома.

За столиками сидели нетрезвые, почти все бородатые субъекты (как я догадался, местные литераторы), они шумно и не закусывая кутили, – ничего, кроме водки, на столах не было. «Злачное место», – шепнул мне Долмат Фомич, приглашая жестом пройти дальше. Библиофилы сочли за благо поторопиться, тем более что нас уже заметили: гул затих – все ясно услышали чье-то недоброе: «Общественники идут...» – и еще более злое: «Любители...» Я замешкался: ко мне направлялся один из этих, с чудовищно неопределенным выражением лица – не то хотел поцеловать, не то съездить по уху. «А тебя я уже где-то видел», – сказал он про меня, но не мне, а моему воображаемому двойнику, так сильно косил. «Гена, не смейте!.. Вы нам мешаете... Отойдите, Гена!» – запротестовал Долмат Фомич, пятясь к еще одной двери и увлекая меня за собой в другой зал.

Туда мы вошли последними.

– Кворум! – кратко объявил некто, возможно Семен Семенович.

Но Долмат Фомич был все еще там – среди литераторов. Он объяснял мне взволнованно:

– Живые классики... с ними у нас плохой контакт... не получается...

Меня ж поразило другое. Я увидел сервированный стол. Еще как сервированный!..

Долмат Фомич замолчал понимающе.

Никого, кроме библиофилов, здесь не было.

– Господа! – сказал профессор Скворлыгин. – Не пора ли отужинать? Прошу всех к столу.

Библиофилы не заставили себя уговаривать, задвигали стульями, рассаживаясь.

Круг избранных – понял я наконец, где очутился. Актив общества, сливки общества. Гляжу на выход невольно. Адьо – и домой. «А вы?» – меня приглашают сесть, меня – персонально. Нет, я стою, никуда не ушел, не сел еще, потому что стоя удобнее – именно мне доверяют открыть бутылку шампанского. «Вошел: и пробка в потолок!» – приветствует Долмат Фомич хлопок и шипение (а ведь «ростбиф/ромштекс» его, похоже, в самом деле задел...). Хорошо. Подчинюсь обстоятельствам.

Зазвякали вилки и ножи.

Что ели, пожалуй, не буду описывать, хотя, как проштудировавший «Кулинарию» Всеволода Ивановича Терентьева, мог бы и отметить кое-что, ну хотя бы (не удержусь) жульен:

– Жульен шампиньоновый с эстрагоном, – рекомендует профессор Скворлыгин с классической приятностью в голосе, – не находите ли его аппетитным?

Все находят жульен аппетитным, о чем тут же докладывают сияющему от счастья профессору. Это он, профессор Скворлыгин, виновник сегодняшнего торжества, – первый тост был за его доклад, за его успех. За его изыскания.

А второй – за меня.

Почему за меня?

Почему-то.

Буду принимать все как должное.

Иногда появляется Лариса, официантка, по всему видно, свой человек. «Ну что, мальчишки, сыты?» – «Ларисочка, – вкрадчиво мурлыкает пожилой библиофил с бакенбардами, – вы так похожи на Анастасию Николаевну, на жену писателя Федора Сологуба...» Куда с большим вниманием Лариса слушает Долмата Фомича, перед ним наклонясь, но ровно настолько, чтоб и тому пришлось вытянуть шею: он ей что-то на ухо шепчет, – не пора ли, быть может, принести канапе?

– Это правило или исключение? – обводя стол взглядом, спрашиваю соседку свою, Зою Константиновну, единственную библиофилку на все общество библиофилов.

– У нас, – отвечает она, – богатые спонсоры. Хотите филе? Потом библиофилы играют.

Каждый называет фамилию малоизвестного ныне автора, причем обязательно надо писателя второй половины XIX века, и все выкрикивают, кто больше знает, что тот написал.

– Баранцевич!

– «Воробушек»! – «Куколка»! – «Акулина»!

– Новодворский!

– «Карьера»! – «Тетушка»! – «Сувенир»!

– Мачтет!

– «Хроника одного дня в местах не столь отдаленных»!

– Не спи-те, – нараспев проговорила Зоя Константиновна, положив ладонь на мое плечо. – Вы упускаете свой шанс.

– Мне кажется, я действительно сплю, – сознался я честно.

– Во сне не пьют. Налейте мне мадеры.

– Лично я как раз часто пью во сне.

– Вот как? Это признак алкоголизма. – И, подумав, добавила: – Или травмы. У вас разбитое сердце.

– Вообще-то, меня шарахнуло по голове недавно, а что до сердца, то все с ним нормально. За вас, Зоя Константиновна.

– За вас, Олег Николаевич.

Скоро она опять заговорила:

– Скажите, Олег Николаевич, глядя на меня, вы воображаете мелодию? Сознайтесь, внутри вас ведь что-то играет?

Внутри меня ничего не играло.

– Вам Долмат Фомич сказал?

– А разве не так? Вы какой инструмент обычно воображаете – виолончель?

– Никакой. Я так не могу объяснить. Я просто музыку иногда слышу. И все. (Если бы я при этом знал названия всех инструментов... Ну скрипка, ну арфа, ну барабан... «Виолончель»...)

– И сейчас тоже слышите?

– Сейчас нет.

– А оркестр бывает?

– Ну, бывает.

– Симфонический?

– Не знаю. Когда как. Когда симфонический, когда какофонический.

– Неужели вы способны вообразить какофонию?

– Я нарочно не воображаю ничего. У меня само получается.

Похоже, Зоя Константиновна была разочарована. Чтобы ее не расстраивать, я сказал:

– Видите ли, сейчас я одержим полифонией.

Отчасти так и было: после того, как я сдал Достоевского, что-то во мне звучало полифоническое...

– Олег Николаевич, а как вас величают любящие вас женщины?

– Кто как, – отвечал я уклончиво (не хватало еще ей рассказывать, как меня в былое время жена привечала, пока не выселила из квартиры...). – По-разному.

– Алик, Аленька, Алёнучка... – фантазировала Зоя Константиновна, уже захмелевшая. – Олег... Да! Олег. Замечательное имя. Олег Николаевич, я вас буду называть Олегом. Разрешаете?

Тем временем настала моя очередь предложить фамилию малоизвестного литератора второй половины XIX века. Из малоизвестных я никого не знал, шутки ради я назвал фамилию моей бывшей жены, разумеется девичью:

– Хвощинская.

Со всех сторон закричали:

– «Большая медведица»!

– «Пансионерка»!

– «Былое»!

Профессор Скворлыгин даже привстал:

– «Провинциальные письма о нашей литературе»!

– «Провинция в старые годы»! – вдохновенно вспомнил Долмат Фомич. – Трилогия целая! Вы что?! Забыли?..

– «После потопа», – сказал с бакенбардами.

– А ну-ка, – обратилась к сотрапезникам Зоя Константиновна, – скажите, из какого это рассказа: «Бывали хуже времена...» – но закончили фразу все вместе:

– «Подлее не бывало»! – и тут же наперебой:

– Из «Счастливых людей»!..

– Из «Счастливых людей»!..

– Из рассказа «Счастливые люди»...

Стали подводить итоги. Долмат Фомич объявил победителем почему-то меня (что-то я все-таки недопонял в их правилах...). Мне хлопали. Однако за Хвощинской статус «малоизвестного литератора» отказались признать. Говорили, что «очень известная».

– Поздравляю, – проворковала Зоя Константиновна, положив мне на плечо сразу обе ладони. – Вы молодец.

Лариса убирала тарелки. Отдыхали.

Прохаживались по залу, беседуя. Один библиофил музицировал на пианино, а двое других пели куплеты.

– На слова Мятлева, узнаете? – спросил Семен Семенович.

вич, проходя мимо меня.

Зоя Константиновна подвела меня к окну, отдернула занавеску-маркизу.

– Вам нравится?

Вид был действительно замечательный: Нева, крейсер «Аврора», гостиница не то «Ленинград», не то «Петербург», – как раз в те дни ее переименовывали.

– Как хороши, как свежи были розы, – ворковала Зоя Константиновна.

Пили кофе с пирожными. Профессор Скворлыгин рассказывал о болезнях древних людей, о костях, которые он изучает, о том, что нет интересней науки, чем палеопатология.

Глава 4

Такое непринужденное интонирование...

1

Октябрь в Петербурге – скверное время. Листья гниют под ногами. Сыро, дождливо, собачье дерьмо... Не листопад. Листопад листолежем сменился. Листогнилом. Где уж тут золотая осень. Еще, может, в Пушкине – золотая, или в Павловске, может, она золотая, там ведь так посадили деревья, что листья цвет не сразу меняют, не попеременно, не как им вздумается, а радуя глаз: желтые пятна, багровые пятна, зеленые пятна еще. – Музыка парков. А на вокзале другая музыка. Духовой оркестр играет у Витебского. В открытый чемодан кидают рубли. Можно «Татьяну», а можно «На сопках Маньчжурии». Все – «На возрождение духовой музыки» (табличка). На Сенной у метро поскромнее оркестрик, менее слаженный. Мэр города Собчак обещает к Новому году открыть подземный переход и новую подземную станцию, сопряженную с уже имеющейся. «Утомленное солнце нежно с морем прощалось, в этот час ты призналась, что нет любви». Иностранные вывески появились на Невском. С энту-

зиязмом играют у Елисеевского. В основном то, что волнует национальные чувства проходящих мимо американцев. Но туристов немного. Не сезон. И потом, еще не оправились после путча. Боятся. Около Гостиного Двора – сумасшедший карлик с выпученными глазами и с гитарой – истошно орет. Он бьет по струнам без всяких аккордов и что-то выкрикивает невразумительное, подпрыгивая и подергиваясь. Вокруг толпа. Одни смеются, другие совсем не смеются.

Нет листьев на Мойке. Липы спилены. Пилили липы пилой. Конечно, это были липы, а не тополя. Я хорошо помню. Просто мы когда-то по какой-то весне из клейких липовых листочков придумали салат со сметаной – экстравагантную закуску на тридцатилетие художника Б. Он отмечал юбилей в огромной мастерской у Синего моста, которую арендовал в складчину с тремя другими художниками. – Б. писал горы, вулканы и лунные ночи. Ему подарили набор из тридцати граненых стаканов и будильник, облагороженный гравировкой: «Не спи, не спи, художник, не предавайся сну». Костя-примитивист блевал в Мойку клейкими липовыми листочками. Зато много на Введенском канале. Тополиных. Мокрые, чавкают, когда ступаешь. Канала нет. Давно закопан. Есть только улица, носящая имя Введенский канал. От невзрачной стены Военно-медицинской академии оттопыривается пивной ларек, похожий на огромную бородавку. В розлив. А не в разлив. И с подогревом. Функционирует до полуночи. Иные спать укладываются в кучу мокрой листвы.

Холодает. Зачем не забираете пьяных, замерзнут! – возмущалась Екатерина Львовна, сама подшофе. Пьяненькие лежали повсюду.

В остальном Екатерину Львовну власти вполне устраивали. Ее бутербродное дело заметно расширилось. Она нашла компаньона – спившегося майора в отставке, с которым можно было поговорить о политике, благо продажа имущества остановилась на телевизоре.

Они смотрели новости и заинтересованно их обсуждали. На телевизоре лежала кулинарная книга из библиотеки покойного Всеволода Ивановича Терентьева, столь крупно-объемному предмету не нашлось места у меня на антресолях. Строгостью и обстоятельностью веяло от этой книги. Я сначала боялся, что и она окажется на сенной барахолке, но, почувствовав отношение к ней Екатерины Львовны – ревностно-почтительное, ревностно-благоговейное, – перестал беспокоиться.

Книга-намек. Книга-иносказание.

Ни в себе самом, ни вне себя самого я не искал смысла никакого особого, просто не хотел задумываться о нем, не находил нужным, а тут – увесистый труд, фундаментальность которого так и лезла в глаза, на века переплетенный в Образцовой типографии имени Жданова, лежал себе преспокойно на телевизоре, намекая, как бы на устойчивость мира, на простоту неких мировых констант, когда мир-то наш на глазах расплзался.

Странное дело, именно в те смутные дни, когда из магазинов исчезли продукты и даже по талонам не купить было сахар, подсолнечное масло, обыкновенный чай и крупу, резко возрос неожиданный спрос на – нет, не на поэзию, как в эпоху военного коммунизма – на кулинарную литературу! Издаваемая фрагментами Молоховец продавалась в киосках вместе с газетами и шла нарасхват, не говоря уже о разных там «Крепких напитках», «Диетической стратегии молодых» или «Занимательном сыроедении». Пережившему искус маргинального библиофильства и кулинаробесия, мне сейчас легко вспоминать, но тогда, глядя на экран хозяйкиного телевизора, радостно возвещавшего об очередном крахе очередной «структуры последней империи», я смутно переживал близость сталинской «Кулинарии», тяжело нависающей над головой подслеповатого журналиста.

Когда Екатерина Львовна положила ее на телевизионный ящик, она мне так сказала: «Ты стал много думать. А ведь ты не любишь собак. Нехорошо. Ты становишься злым».

Вот что ей во мне не понравилось: я терял интерес к Сенной площади. Я не пошел к ней в компаньоны. Я не захотел пить портвейн с ее отставным майором. Не читал «Известий». Моя связь, мнимая, ею же придуманная, с ее предприимчивой, поселившейся в моей квартире племянницей, я знаю, сильно беспокоила Екатерину Львовну, потому что ей ничего не было понятно, – связанный словом с той стороной, я не рассказывал правды. Она присматривалась ко мне, под-

зуживаемая майором. Я был для нее подозрительный подпольщик (пускай и на антресолях), возможно, страшно сказать, коммунофашист (как тогда обзывали всех, *кто не с нами*), потому что не смотрел телевизор и не рвался в атаку.

А она постоянно левела. Или правела. Потому что левое было правым тогда, а правое – левым. Она защищала от меня священную идею демократии, персонифицированную в одутловатом лице первого президента России, да так истово, словно я хотел навязать ей любовь к олигархии. И конечно, защищала собак.

– При чем тут, скажи, демократия? – слышал я сквозь сон, как она возмущалась среди ночи внизу. – Разве собаки до путча не гадили?

– Еще как гадили, – соглашался майор, уже изрядно подвыпивший.

– А он говорит, что не так. Что только сейчас... А ведь путч был когда?.. В конце лета был путч. А собак вывозят на лето. Вот и не гадили... Собаки на дачах летом живут... В отпусках... Их после путча уже привезли... вот и гадят... а он...

– Срут, – сказал компаньон.

Я не понимал этого. Я не понимал, почему Екатерина Львовна так уверена, что я ненавижу домашних животных? Потому что я всего лишь рассказал ей сон про Эльвиру? Как хотел ее зарубить топором?.. Болван. Нашел кому рассказывать!.. Я рассказывал сны ей зачем-то... Зачем?

– Он сочиняет стихи.

Ложь! Тебе не понять!.. Ты залезла в мои записи, глупая женщина! Записи, – верно, – мои, да стихи – не мои! «Морозной пылью серебрится его бобровый воротник...» Нам так с вами не написать, Екатерина Львовна!

Вошел: и пробка в потолок!
Вина кометы брызнул ток,
Пред ним *roast-beef* окровавленный,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Страсбурга пирог нетленный

Меж сыром ламбургским живым
И ананасом золотым!

Восклицательный знак – уже от меня, не удержался поставить...

И ананасом золотым!

После иронической фразы о принципах выбора мяса в условиях отсутствия выбора приводился нехитрый, адаптированный к обстоятельствам времени рецепт ростбифа.

В среду пришла Юлия.

Я еще спал. Самые нелепые сны снятся почему-то под утро. Я ходил на ходулях по Летнему саду, по скользким листьям опавшим. Подо мной прогибались ходули, они были какие-то гибкие, не деревянные. Никогда не ходил на ходулях. Некто в свисток свистел. Свист в звонок превращался.

Уже наяву, застегиваясь, дооблачаясь и думая, что все-таки не ко мне, шел, спотыкаясь, к двери.

Нет, стояла девушка в светлом плаще с приподнятым воротником.

– Здравствуйте. Олег Николаевич – вы?

– Я, – сказал я.

– Я курьер. Меня зовут Юлия.

– Здравствуйте, Юля.

– Юлия, – поправила гостя. – Я курьер.

То, что курьер, только сбило меня. От жены, я подумал. Повестка, наверное, в суд.

Хотя – какая повестка? С курьером...

Она видела, что не врубаюсь.

– Долмат Фомич просил забрать материал для газеты. Знаете такого?

Я обрадовался:

– Ну конечно, а как же? Вы проходите. Что же вы не про-

ходите?

В общем, впустил.

– Готов материал?

– Да какой материал!.. Тоже мне материал!.. Два материала... (Ворчу.) Я бы сам занес. Не тот случай.

– У них еще нет офиса. Адрес редактора никто не знает.

– Но вы-то знаете?

– Я знаю... И потом, за меня не беспокойтесь, я не перетрудилась. Вы у меня за все время первый... – она запнулась, – не клиент, а как это?.. Адресат?

– Сослуживец, – предположил я.

– Хотя бы, – согласилась курьер.

Я поинтересовался:

– А давно вы работаете?

– Два месяца.

– И что же, за два месяца ни с кем не... общались?

– Ни с кем. К вам первому.

– То есть числитесь просто?

– Нет, почему же, просто работы не было... большой.

– А сейчас появилась... большая?

– Как видите. Ну так где ваш труд?

– Раздевайтесь, – сказал я, спохватившись. – Я сейчас принесу.

– В другой раз, – сказала она. – Мне некогда.

«Некогда, некогда», – постукивало у меня в голове, когда поднимался к себе по лесенке. Там, на матрасе, записей не

было. И под матрасом не было. Я сосредоточивался, вспоминал, не к месту и не ко времени заторможенный. Вспомнил. Вложено в «Кулинарию».

Вниз спустился, подошел к телевизору. Так и есть: между вклейкой «Телятина» и вклейкой «Свинина»... Но почерк ужасный какой!.. Какие каракули!.. Фу ты, как нехорошо, как некрасиво!.. Да о чем же я думал, когда это все выписывал?..

Я вернулся к Юлии.

– Знаете, я, пожалуй, перепишу. А то жуть какая-то...

– Сойдет, – сказала курьер и, свернув мои бумажки в трубочку, засунула в карман плаща.

Работа, конечно, невесть какая, но можно было бы и поаккуратнее.

– Это черновик. Я переделаю. Перепишу.

– Я вам сама перепечатаю. Не беспокойтесь.

– Еще чего не хватало. – Я попытался вынуть торчащую из кармана трубочку. – Вы же курьер!

– Драться будем? – насмешливо спросила Юлия, резко от меня отстраняясь.

Ах вот ты какая... Ну что ж, я, в конце концов, к вам не напрашивался. Пускай.

– Газета. Выйдет. Когда.

То был мой вопрос.

– Не знаю. Ее давно выпускают. Все не выпускается...

– Но деньги платят.

– У нас богатые спонсоры.

- Тогда мне вот что скажите, Юлия... Который час? У меня часы не заведены. (Тю-тю.)
- Двенадцатый. Долго спите, Олег Николаевич.
- Разве заметно, что спал?
- Заметно, что еще не проснулись.
- Ну уж нет, – сказал я и замотал головой, мол, проснулся.
- Проснулся.
- Приходите в пятницу на заседание.
- Куда?
- Туда же, в Дубовую гостиную. Кстати, Долмат Фомич просил передать, что вы записаны в писательскую библиотеку. Для работы. Счастливо.
- Я закрыл за ней дверь.

3

Итак, это называется «для работы». Не знаю, догадывался ли Долмат Фомич, но книг у меня при моих обстоятельствах в самом деле не было ни одной – кроме той терентьевской «Кулинарии». За тем же, допустим, «Онегиным» надо куда-то пойти, и вот я иду не куда-то туда, а туда, куда велено: в читальный зал, шутка ли сказать, писательской библиотеки (знать, и на эти сферы распространилось влияние моего покровителя).

Был принят ласково.

– Ах, так это вы? Вы из Общества библиофилов?

Миловидная женщина достала мой формуляр, он уже был заполнен, оставалось только поставить подпись. Больше вопросов не задавала. Тогда я сам полюбопытствовал:

– А что, вы всех членов Общества записываете в библиотеку?

– Нет, конечно. Вы же не члены Союза писателей. Только три места на все ваше Общество.

Какая честь, подумал я, неужели я третий?

– Вы второй, – сказала библиотекарьша.

– А кто первый? Долмат Фомич, наверное?

– Нет, другой.

– Профессор Скворлыгин?

– Нет, вы не знаете его.

– Его или ее? Зоя Константиновна, да?

– Нет. Терентьев Всеволод Иванович.

– Так ведь он же умер.

– Умер, – согласилась библиотекарьша. – В таком случае вы не второй, а первый. Еще две вакансии... Вообще-то, это нас не касается. Союз писателей сам по себе, а ваше Общество само по себе. Что будем читать?

Я попросил хрестоматию для восьмого класса.

– Ну что ж, – сказала библиотекарьша, – можно и хрестоматию.

Она принесла хрестоматию.

Я сидел за круглым столом красного дерева – один, в тишине – в уютной дворцовой комнате со старинной мебелью и

резным потолком, окруженный Брокгаузом и Ефроном, Сы-
тиным и Сувориным, всем «Всем Петербургом», всей-всей
«Живописной Россией» – сотнями томов в роскошных изда-
тельских переплетах, и листал, листал, перелистывал обык-
новенную школьную хрестоматию. Я был как тот алкоголик,
подшитый – примеряющий к себе рюмку запретной водки.
Примирился как будто с печатным текстом. Несмело. То был
брак по расчету. Мне деньги платили. Я помнил.

Я тем себя успокаивал, перелистывая хрестоматию, что
помнил: деньги платили – за это.

Я сдал всего Достоевского в «Старую книгу». Не зря.

У Достоевского мало едят. Пьют чай.

Или чай пить. Или миру пропасть.

Ни чая не надо, ни мира.

Вспоминал о еде.

Генерал у Замятина (вспомнил) готовил самозабвенно
картофель фри (во фритюре) – у себя «на куличках».

О куличах. Калачах. Кренделях.

Заболоцкий.

Из-под пера выходило – чужое.

4

– Взгляните, – сказал Долмат Фомич, передавая профес-
сору Скворлыгину две машинописные странички.

– Ну-кась, ну-кась, – профессор Скворлыгин искал нетер-

пеливо очки по карманам; нашел; нацепил на нос; причмокнул губами, сглотнул слюну; сказал: – Мм-э-э. – И углубился в чтение.

ТРАКТИР «ВСЯКАЯ ВКУСНЯТИНА»

«В волшебном царстве калачей...»

В волшебном царстве калачей,
Где дым струится над пекарней,
Железный крендель, друг ночей,
Светил небесных светозарней.

Внизу под кренделем – содом.
Там тесто, выскочив из квашен,
Встает подобьем белых башен
И рвется в битву напролом.

Вперед! Настало время боя!
Ломая тысячи преград,
Оно ползет, урча и воя,
И не желает лезть назад.
Трещат столы, трясутся стены,
С высоких балок льет вода.
Но вот, подняв фонарь военный,
В чугуна ударил тамада, —
И хлебопеки сквозь туман,
Как будто идола в тиарах,
Летят, играя на цимбалах

Н. Заболоцкий. Столбцы

«Деньги дороги, да калачи дешевы». Ну-ну. В наше время как раз наоборот. Да все равно «жива душа калачика просит». Что ж, попробуем:

КАЛАЧ ФИЛИППОВСКИЙ

Возьмите 8 стаканов муки, 2,5 стакана молока (это уже по тексту «Кулинарии»), 1,5 пачки маргарина, 1,5 стакана сахарного песка, 5 штук яиц, 1 чайную ложку соли, 0,5 палочки дрожжей.

Дрожжи и половину нормы муки растворить в подогретом молоке. Опару хорошенько вымесить и поставить на..

.....

.....

... .. Готовые калачи посыпать сахарной пудрой.

КРЕНДЕЛЬ

Крендель – род калача. Отличается особой формой и добавками: миндаль – 0,5 стакана, изюм – 1 стакан, корица молотая – 1 столовая ложка.

Если же вам не хватает талонов для этого теста,

САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ТОРТ

Возьмите 1 стакан муки, 1 стакан песка, 1 стакан кефира, 1 яйцо, 0,5 чайной ложки соды – погасить уксусом, 2–3 столовых ложки какао..

.....

..... Добавьте в тесто 1 ложечку меда. И приятного аппетита.

– По-моему, великолепно, – сказал профессор Скворлыгин. – Даже пословицу подобрал, каков молодец!.. А как изящна концовка!.. «И приятного аппетита»!.. Казалось бы, простые слова, но насколько точны, выразительны и уместны!..

– А мне нравится «и», – сказал Долмат Фомич. – Обратите внимание, не просто «приятного аппетита», а «и»! – «И приятного аппетита»!.. Такое непринужденное интонирование... Нет, молодец, молодец... Лучший материал в номере, как ни крутите!..

– Друг мой! – Профессор Скворлыгин тряс меня за руку. – Поздравляю. Искренне поздравляю!

мне уж совсем истерзала душу моя неприкаянность – или конкретно: достал майор со своими прихватами, хрен с ним и с ними, – но костюм при моем теперешнем положении в обществе мне бы не помешал. И я отправился за костюмом.

В нашей квартире приключился ремонт.

В моей – и еще раз: в моей! – в настоящей, напротив парка Победы.

Терпеть не могу ремонтов. В том, что ремонт, я уже их на лестнице заподозрил: ступеньки в мелу! Стоя за дверью, слышал вой пылесоса. Звонил и звонил.

Вняв звонку, Валера открыл наконец – на голове из газеты колпак-треуголка. Весь в мелу. Он глядел на меня, словно я был посланцем параллельного мира.

– Это ты? – спросил в изумлении.

– Не ждали?

Точно, не ждали.

Оклеили зачем-то стены в прихожей какими-то жуткими обоями с омерзительными разводами как бы под мрамор.

– Зачем?

– Красота спасет мир, – сострил Валера.

Меня передернуло.

– Могли бы и посоветоваться.

Он промолчал.

Так и есть: в моей комнате потолок белят. Вдвоем. Надежда разводит мел, а этот, значит, со стремянки спустился.

– Ребята, а вы, я смотрю, надолго обосновались.

– Но надо же делать что-то с квартирой, – Валера сказал. – Осторожно, не прислоняйся.

– Это как? – Я не понял про «надо». – Что надо делать?

– Жить надо по-человечески! – Валера воскликнул. – По-человечески, понимаешь?

– Каждый должен обустроить свой дом, – раздался голос Надежды.

– Так ли я понимаю, что вы свой дом обустраиваете?

Валера спросил:

– Ты разве против?

– Нет, я не против, просто я думал, что это все-таки мой дом.

– Разумеется, твой... В известном смысле твой... Но не только твой. И твоей жены тоже. И наш.

– Наш общий дом, – обобщила Надежда.

– Вот мы и ремонтируем, – сказал Валера.

– А он недоволен, – сказала Надежда Валере.

– Будь снисходительна, – Валера Надежде сказал.

– Стойте, стойте. А ну-ка, объясните мне, какое отношение к моей квартире имеете вы.

То бишь, сам того не желая, я поднял и заострил проклятый *квартирный вопрос*, из всех проклятых – самый мне ненавистный.

– Объясняю. Раз ты придираешься к словам, я тебе, во-первых, скажу: да, действительно, строго говоря, это неправильно, нельзя говорить «моя», «твоя», «наша», «ваша» об

этой квартире. Эта квартира не совсем твоя и не совсем наша, если быть достаточно строгими. Что касается тебя, Олег, то ты в этой квартире всего лишь *прописан*, а изживший себя институт прописки, нравится тебе или нет, будет вот-вот ликвидирован, подобно другим институтам социального принуждения, скоро даже никто вообще не вспомнит, что это было такое – прописка... И лишь после *приватизации*... – это скучнейшее слово (в те дни жутко модное) Валера произнес особо отчетливо, – после приватизации можно будет говорить о данной квартире как о чьей-либо собственности. Не перебивай. Во-вторых... Ты спрашиваешь: какое мы имеем отношение к этой квартире? Вот какое: мы в ней живем. В-третьих, как видишь, мы ее ремонтируем. В-четвертых, Олег, если не мы, то кто? Может быть, ты? Может быть, ты способен пошевелиться чуть-чуть? пальцем о палец ударить?..

Нет, не способен. Не могу. Не хочу. Не люблю. Не воспринимаю. Не понял ни слова. Какой-то бред.

– Да ведь я вас просто впустил!.. Просто пожить впустил! – воскликнул.

– Ну впустил. Ну и что? Ты так говоришь, будто мы тебе плохого желаем.

А Надежда сказала:

– Я ведь знала, что он не оценит.

– Оценит, оценит. Поживет еще недельку с женой со своей, сразу оценит. Заживо съедят. Будет съеден.

С этим не спорил. Он прав.

– Говорят, – сказал я без злорадства, – породистой собаке отдельная площадь полагается. Вот кто раньше вас приватизирует.

– Не знаю, как насчет собак, но я ведь тоже могу рассчитывать на привилегии.

– Ты?

– Как защитник Белого дома, – невозмутимо ответил Валера.

– Да ведь ты же в Питере был.

– Мы защищали *Петросовет*, – сказала Надежда, – это приравнивается к защите Белого дома.

– На него никто ж не нападал, на ваш Петросовет.

– Потому и не нападали, что были защитники.

Брошен взгляд на Надежду: каково сказано? Точная фраза. Умная фраза.

– С другой стороны, – рассуждает Валера, прохаживаясь по комнате (что непросто: ремонт), – и с твоей неоднозначной женой можно при наличии доброй воли поладить вполне. Она не подарок, это да... Но... практичная женщина, с хваткой... Мы находим общий язык.

– Я рад за вас.

– Мы вместе *отделали* ее комнату.

– Молодцы, – сказал я, ничуть не удивившись.

– Они уехали на время *отделки*, она и ее.

– С Эльвирой, – сказал я, – уехали.

– Нет, Эльвиру оставили нам.

– Какое доверие!

– Спит на кухне. Подожди, Олег, есть еще один вариант. Только не горячись. Ничего особенного. Я женюсь – фиктивно – на твоей жене.

– Поздравляю.

– С этим не поздравляют. Фиктивно.

Я и спрашивать не стал, зачем он женится, – я только сказал:

– Неплохо было бы посоветоваться с формальным мужем, есть такой.

– Ты, что ли? Да мы тебя даже тревожить не собирались. Без тебя меньше хлопот.

– Меньше хлопот жениться на моей жене?

– Конечно. Сейчас это оформляется в течение часа. Лишь бы деньги были и свой человек. Знаешь, сколько стоит свидетельство о смерти?

– Тебе надо свидетельство о браке.

– О смерти.

– Чьей смерти?

– Твоей.

Мне показалось, что я ослышался.

– Не пугай человека, – сказала Надежда. – Смотри, побледнел.

– Без проблем. У меня знакомая в ЗАГСе, вместе на баррикадах были. Оформляем тебя как усопшего – фиктивно.

но! Твоя жена, вернее, вдова фиктивно вступает в брак. Со мной. Она – ответственный квартиросъемщик, я ее муж. Приватизируем. Сдаем или продаем. Тебе часть прибыли. А нам с Надюхой процент за хлопоты, нам много не надо.

– Если шутишь, – сказал я, – то очень глупо.

– Ну а ты умный, вот и дождешься, твоя жена без нас все оформит – без нас и тебя. Ты же палец, умный, о палец еще не ударил, чтобы оформить развод своевременно!

– Я не желаю обсуждать этот бред.

– Как будто кто-то твоей смерти хочет!.. Никто не хочет, не бойся. Или чтобы я домогался твоей жены?.. Может быть, ты ревнуешь?.. Так ты не ревнуй... Ты что думаешь, я действительно домогаюсь твоей жены?

– Он не домогается, нет, – обняла Надежда Валеру. – Он мой. Правда, Валерочка?

– Я бы мог и не говорить ничего, – сказал Валера, освобождаясь от объятий. – Ты бы ничего и не узнал бы. Подумаешь, бумажка!

– Бред, бред, бред!..

– В чем же ты бред усматриваешь?

– Во всем! Зачем тебе фиктивно жениться?.. Зачем мне фиктивно умирать?.. Чушь какая-то, идиотизм!

– Нет, дорогой, идиотизм – это не воспользоваться моментом, возможностями, ситуацией, вот что такое идиотизм! В стране чудеса происходят!.. сейчас такое придумать можно... все, что захочешь!.. любую бумажку достать!.. А через

месяц-другой ты в лепешку разобьешься, ни за какие деньги уже не дадут!.. ни о рождении, ни о смерти твоей, ни о чем не дадут!.. вспомнишь меня, так и будет!

– Да зачем мне бумажка твоя?! И потом, – возопил я, – я так и буду спать на антресолях?

– Можешь спать внизу, – спокойно ответила Надежда.

– С твоей тетей, да?

– У нее, кроме кровати, диван есть.

– У нее еще и любовник есть! Появился!

Надежда не поверила:

– Врешь.

– Отставной майор! Пьяница!

– Мы все не без греха, – примирительно произнес Валера.

– Но она ведь не гонит тебя на улицу, – вступилась Надежда за тетю.

– Здорово будет, когда погонит! Скоро погонит! Я сам уйду!

– Куда? – испугался Валера. – Живи, где живешь!

Я открыл шкаф. Упала газета.

– Осторожно, запачкаешь!

Платья висели.

– Где мой костюм?

– В кухне! На вешалке!

Я в кухню пошел. Точно, мой костюм висел на вешалке, они перетаскивали вешалку из прихожей.

На меня зарычала Эльвира.

– Сидеть!

Приступ неизъяснимой мнительности овладел мною.

– Ты носишь мой костюм? – грозно спросил я Валеру.

– С ума сошел! Вот что я ношу! (Он был в рабочей одежде, перепачканной мелом.)

– А на улицу ты выходишь в моем костюме?

– Ну знаешь, у меня есть в чем выходить на улицу.

– В моем свадебном костюме!

– Олег! Ты снесешь его на барахолку! Ты опустился, Олег! Тебя видели на Сенной, ты продавал кактусы.

– Это было давно. Где галстук?

– Зачем тебе галстук?

– Галстук отдай!

– Да возьми ты свой галстук! Если хочешь торговать, вот, смотри. Нам нужны распространители. Можно без галстука. Потрогай. – Он протянул мне пачку обоев, именно пачку, а не рулон; то были прямоугольные листы ватмана с голубовато-серыми разводами, стилизация под мраморные плиты. – Я прихожую ими оклеил. И еще здесь оклею.

– Пачкаются, – сказал я.

– Ничего не пачкаются. Сами делаем. В ванну бензин наливаешь, сверху масляную краску жирным слоем. Бросаешь листы, чтобы плавали на поверхности... Краска впитывается, достаешь, сушишь. Проветриваешь...

– Тыливаешь бензин в мою ванну?

– Мы их делаем у себя в институте!

Направляясь к двери и неся костюм, я спросил с горечью:

– Как твоя аспирантура, Валерий Игнатьевич?

– Какая аспирантура, Олег Николаевич? Ты же видишь, время какое!.. Какая, к черту, аспирантура!

Глава 5

Разденьтесь и лягте

1

Генерал взял лимон, выжимал сок на ломтики картофеля. Андрей Иваныч насмелел и спросил:

– А зачем же, ваше превосходительство, лимон?

Видимо, пронзило генерала такое невежество...

– Ка-ак зачем? Да без этого ерунда выйдет, профанация! А покропи, а сухо-насухо вытри, а поджарь во фритюре... Ну, куда-а вам! Сокровище, перл, Рафаэль!..

Е. Замятин

КАРТОФЕЛЬ ВО ФРИТЮРЕ

Следуя совету генерала, возьмем лимон, 800 г картофеля... .. (все по той же «Кулинарии»)...

... .. Приятного аппетита!

– Блестяще! – восхитился Долмат Фомич. – Здорово сказано! У меня просто слюнки текут, как здорово!.. Ну вы молоток, молоток!

– Это, знаете ли, Замятин написал, «На куличках». Я ни

при чем.

– Нет, Олег Николаевич, Замятин дело прошлое, а вы наш сегодняшний день. Вы – наша главная удача, а не Замятин, я вами очень доволен.

– Смеетесь?

– Зачем же смеяться? Поощряю, а не смеюсь. «Поощрение необходимо таланту»... как что?

– «Как канифоль для смычка».

– Вот видите!

– Но при чем тут я?

– При том же. Вы умеете работать с чужим текстом, с цитатами... Знаете, это какая редкость сегодня! Найти, оживить, сопоставить!.. реанимировать!.. не перетянуть одеяло на себя, извините за выражение!.. Для этого нужен талант, определенный талант. Кто, ответьте мне, сегодня умеет работать с цитатами?

Мы вышли из-за стола после фаршированных баклажанов в соусе со сливками, – прогуливались по банкетному залу вдвоем. В банкетном зале стоял ровный гул: библиофилы обсуждали книжные новости. Сегодняшний доклад был посвящен специфическим вопросам старения бумаги и книжного клея.

– Долмат Фомич, не подумайте, что я настолько честолобив, что жду не дожусь, когда все это в печати появится, но, пожалуйста, разгадайте загадку, удовлетворите мое любопытство, как же так... зачем?.. Мне вы уже пятый гонорар

платите, и немалый, но как же газета? Ни один номер еще не вышел...

– Не торопите события, Олег Николаевич. Газета есть не когда она вышла или не вышла, а когда она есть. «Общий друг» еще не вышел, вы правы, но он есть. Он вошел в наш обиход в ранге идеи. Кто же скажет, что нет? Есть, есть.

– Есть надо, тщательно пережевывая пищу, – сказал, проходя мимо, Семен Семенович.

Подошел профессор Скворлыгин:

– Над чем работаете, Олег Николаевич? У вас удачный дебют.

Я отвечал в тон разговора:

– Над хлебобулочными изделиями. Хочу рассказать читателям «Общего друга» о галушках из ячменной муки. В повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством» есть классический эпизод...

– С галушками... – не удержался Долмат Фомич. – С галушками! Это просто сил нет как здорово! С галушками!..

– Не забудьте, – сказал профессор Скворлыгин, – галушки очень хороши с кислым молоком.

– Со свежим тоже неплохо, – мягко уточнил Долмат Фомич. – Лично я бы предпочел со свежим.

– А вы больше любите как? – мечтательно спросил профессор Скворлыгин. – Как самостоятельное блюдо или как дополнение к мясному?

– К мясному? – переспросил Долмат Фомич и почему-то

погрозил профессору пальцем. – Нет, увольте. Разумеется, как самостоятельное. А вы?

– И я тоже, – ответил Скворлыгин.

Оба излучали радость неопишущую, аппетит отражался в глазах; оба так на меня смотрели, словно я сам был галушкой.

– Там ведь речь еще шла о варениках, – вспомнил профессор.

– В нашем случае, – сказал я, – это будут вареники со свежими яблоками. Кроме того, я расскажу о пельменях в омлете.

– А помните, как писал Белинский? – неожиданно спросил Долмат Фомич. – «Поэтические грезы господина Гоголя». Вот где поэзия. Ведь это в самом деле поэзия!

– И какая поэзия! – вздохнул профессор Скворлыгин. – Подождите, Долмат Фомич, у вас же есть, не дайте соврать, прижизненное издание «Вечеров»!

– Ну, это преувеличение, – скромно произнес Долмат Фомич. – Всего лишь титульный лист и не более. Титульный лист со второго издания, сохранность очень хорошая... На нем стоит печать Союза рабочих крахмально-паточной и пивоваренной промышленности, украшение моей коллекции. Это восемьсот тридцать четвертого года издание, Гоголем переработанное.

– Но вышло оно, – заметил профессор, – в одна тысяча восемьсот тридцать шестом году.

– Да, но цензурное разрешение – тридцать четвертого года. Ноябрь месяц. Десятое ноября.

– И все-таки хотелось бы побольше стихов, настоящих стихов... Ямб... Хорей...

– Амфибрахий, – кивнул Долмат Фомич.

– Вот, например, в поэме Некрасова «Современники» упомянут салат. Чем не повод поговорить о холодных закусках?.. «Буду новую сосиску каждый день изобретать, буду мнение без риска о салате подавать»... Помните, Олег Николаевич?

Я не помнил.

– Ну как же... Конец первой части.

Нет, я не помнил. И даже не знал.

– Рекомендую.

– Фантастика!

«Фантастика» – это воскликнул Долмат Фомич – хлопнув себя ладонью по сердцу: он явно вспомнил о чем-то (только не по сердцу, а по месту пиджака, где внутренний карман):

– Фантастика! Вы удивитесь, друзья, но эта поэма... о которой вы только что упомянули, профессор... эта поэма – вот! – и, словно заправский иллюзионист, выразительно щелкнув пальцами, достал Долмат Фомич из внутреннего кармана небольшой томик Некрасова: Н. А. Некрасов. Последние песни. М.: «Наука», 1974 (эту книгу я потом изучил основательно, от корки до корки). – Каково? – спросил Долмат Фомич, торжествуя.

– Невероятное совпадение, – выдохнул профессор Скворлыгин.

– Да тут и закладочка, – обрадовался Долмат Фомич еще большему совпадению, – как раз на этом месте!

– Быть не может! – не поверил профессор Скворлыгин.

Долмат Фомич продекламировал:

Слышен голос – и знакомый —
Ананас – не огурец!

– Оно!

– Ну, это судьба, Олег Николаевич, это просто судьба! Берите, берите скорее, – Долмат Фомич сунул книгу в руку мне, молчаливо недоумевающему. – Многое вам придется обдумать, осмыслить... Это судьба!

Зазвенел колокольчик. Всех приглашали снова к столу.

Зоя Константиновна, которая села было за пианино, внезапно залилась громким неподражаемым смехом; радость переполняла ее.

– Я специалист по костям, – обратился профессор Скворлыгин ко всем присутствующим. – Я бы мог вам рассказать о костях. Только это не к столу. В другой раз.

Парфе клубничное подавалось на сладкое.

Вздорные вздорили, непримиримые не примирялись. Местом всплесков и выплесков был общественный транспорт, особенно трамваи и троллейбусы, особенно в час пик. Многие боялись в те дни заводил – энергетических вампиров, правду о которых, говорят, замалчивали коммунисты. Теперь об этих писали в газетах. Была и по телевизору смелая передача, уже не столь смело, вполголоса мне ее пересказывала Екатерина Львовна. Она напрасно боялась, я с ними не связан. Помню поучительный совет писателя В. Прохвятилова перебинтовываться – мысленно перебинтовываться с ног до головы, лишь заподозришь приближение заводилы. И ни в коем случае не вступать с ним в спор, не отвечать, пусть себе кипятится. А я отвечал. Иногда. И не перебинтовывался.

Крайне неприятное зрелище. Опять старуха. Она выкрикивала ругательства, как сумасшедшая. Она и была, скорее всего, сумасшедшей – тощая, в полинялом пальто. Начала с ГКЧП, потом перешла на присутствующих. Пассажиры, обзываемые «козлами» и «идиотами», благоразумно молчали, перебинтованные. Доставалось не только попутчикам и путчистам, но и натурально сильным мира сего: тогдашнему Бушу (был такой в США) и Ельцину с Горбачевым (это уже наши товарищи). Буш-Ельцин-Горбачев, чудище трехглавое, казалось, вместе с нами в троллейбусе ехало, так зримо об-

вешивалось оно и обмазывалось, ну да ладно с ним, а настало за что? Нас – троллейбусных младороссов, чей меняется менталитет?.. Не хочу. Не люблю, когда дергают. Мне бы промолчать по-хорошему ввиду явной клиники, ан нет, самого за язык потянуло. И все потому, что обращалась она не куда-нибудь в пустоту, а к вполне конкретному лицу, вернее, к спине того лица, поскольку, собственно лицом к окну отвернувшись, она (чье лицо) туда и смотрела. Незнакомка, и пока так и буду ее называть: знакомка. В красном шарфе. А не та сумасшедшая. Та – ругалась.

Иными словами, я решил заступиться. Иначе: вклинить-ся, встрять. Не желая никого обижать и на оригинальность не претендуя, я, неперебинтованный, громко сказал: «Тише, бабуса, кругом шпионы!» – И все. Весь мой поступок... А что по-оракульски вышло, того и сам не хотел. Все как будто вздрогнули в нашем троллейбусе. И та замолчала. Зловеще.

Незнакомка в красном шарфе повернулась на мой голос, она посмотрела не меня, хотел бы я думать, с благодарностью, но, если оставаться реалистом, пожалуй, все же с иронией (а то и насмешкой). И произнесла «здравствуйте», чем очень меня удивила. Странная девушка, подумал я, но хорошая. Несомненно, кроме красного шарфа, она обладала еще и природными отличиями, именно: глазами, носом, губами. И волосами еще, но тогда волосы были спрятаны под капюшон (красный шарф был повязан поверх капюшона). Ну и шеей (скажу, забегая вперед).

– Очень тонко замечено, – отвлек меня пассажир, очутившийся рядом. – Кругом шпионы. В правительстве и везде. Шпионы и предатели. Кругом измена.

Он стал перечислять высокопоставленных изменников и шпионов, загибая пальцы.

– Откуда вы знаете? – спросил я.

– Есть свидетельства, есть доказательства.

– Вы, – вспомнил я, – вы депутат Скоторезов!

Пассажир дернулся, словно его ударили в бок, и немедленно вышел (была остановка).

Высадка-посадка произошла в полном безмолвствии. Но как только троллейбус тронулся дальше, на меня как горох посыпались «козел», «пустозвон», «придурок», «идиот» – и чем дальше, тем больше, чем дальше, тем хуже (к изумлению вновь появившихся). «Сука, зараза, – выкрикивала ненормальная, – выблядок, паразит! Ты еще попрыгаешь, вспомнишь меня!.. Чтоб тебя живьем съели, гадину!.. Мудака такого!.. Блядину...» – «Не обращайтесь внимания, – сказала незнакомка. – Бывает. Бывает». Приблизясь ко мне, громко поносимому, она спросила негромко: «А вы куда едете?» Я не сразу ответил: «Домой», но, ответив, тоже спросил: «А вы?» – «Я еду к подруге».

Остановились. Водитель объявил, что «машина не пойдет дальше, а пойдет назад, по семнадцатому». (Владимирская площадь – вот куда мы приехали.) Пассажиры оставляли троллейбус, одни ворча, но большинство безропотно.

Старуха теперь поносила водителя, он же, покинув кабину, пытался уговорить ее выйти по-доброму. «Убей – не пойду!.. Убей, убей!» Сидела на месте. Не вышла. Водитель повез ее, единственную пассажирку, куда-то «по семнадцатому» – не то в парк, не то убивать.

Мелкий дождик накрапывал. Мы стояли около дома Дельвига, похожего на больной зуб.

– Что-то много, – сказал я, – сумасшедших в городе.

Она ответила:

– Выпускают. Денег нет.

Она не уходила, и я не уходил. Мне казалось, что это уже было когда-то со мною – может, здесь, на троллейбусной остановке. Представился:

– Меня зовут Олег.

– Неужели?

– Что «неужели»? – Я сам из-за этого «неужели» на долю секунды засомневался, тот ли я есть, кем представился, неужели Олег? – Вам не нравится имя Олег?

– Нравится, – сказала, смеясь. – В таком случае меня зовут Юлия.

– Юлия?

– Юлия.

– Елки зеленые! – вот и все, что я смог произнести вразумительного.

Юлия. Наш курьер из «Общего друга». Она. Это было чудовищно. Во плоти и не узнанная. Мною не узнанная. Она.

Я даже сконфузиться не сумел по-человечески, ошеломленный своим беспамятством, замямлил, глуповато оправдываясь, о новой прическе, вовсе, как тут же и выяснилось, не новой, к тому же под капюшон спрятанной. Но ведь было же, было в ней крайне новое что-то, чем все старое, если я не тронут умом, в нем затмилось, в уме, – вот насколько. О боже. Язык, мой язык...

– Не комплексуйте. Бывает. Мы только раз виделись.

Да ведь этого даже теоретически быть не должно! – «Раз виделись»!.. Ведь образ ее, той – ее – однажды виденной Юлии, мной овладел как-никак, а точнее, весьма и весьма овладел – раз она мне приснилась. Раз виделись раз. Она мне ж присниться успела. Был сон, говорю.

– Я еще позавчера к вам приходила, вас дома не было, – как бы за меня извинялась и опять же передо мной таки Юлия (впрочем, взяв еще более насмешливый тон). – Соседка дала.

Ей соседка дала мои кулинарные наброски о жаренной (сырые наброски) с томат-пастой салаке и раках вареных. Соседка лучше меня разбирается, где мое плохо лежит и что именно. В ту же ночь – в ночь на вчера с позавчера – словно в компенсацию того, что мы разминулись, мне она и приснилась, Юлия, да так дерзко, что здесь которая, эта – за ту – могла бы и не. Я сказал тем не менее:

– Юлия, вы мне приснились.

– Что-нибудь непристойное, – заключила саркастически

Юлия и была недалеко от истины. Хотя – смотря что считать непристойным.

– Смотря что считать непристойным.

– Я многим снюсь. Бывает.

Разволновался. Разволновался, честно скажу. Как бы я ни старался подстроиться под Юлин тон спокойно-насмешливый, внутри-то меня поклокаtywало. Внутри меня внутренностями моими несамоощущаемыми, самонеощущаемыми, само по себе ощущаемо, осяутимо – овладевало, страшно сказать, неясное предощущение не случая, но судьбы. И то, что забыл (теперь уже в зачет зачитываемое), и то, что вообще пришла (при всей несолидности миссии, прямо скажем), и то, что вот наконец – всему венец – троллейбусная старуха беспричинной бранью своей нас так по-сумасшедшему облучила и обручила, – во всем увиделся знак.

– Много совпадений, – сказал я, – много совпадений в последнее время.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.